

# Стрелец

# 1

«Стрелец» — ежемесячник литературы, искусства и общественно-политической мысли

январь 1986

купола  
в россии  
кроют  
чистым  
золотом,  
чтобы чаще  
господь  
замечал...



\$3.50

# СТРЕЛЕЦ

объявляет подписку

на **1986** год

В ЖУРНАЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ, ИНТЕРВЬЮ, ВОСПОМИНАНИЯ, ЭССЕ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, КИНО, ТЕАТР, ПУБЛИЦИСТИКА. «СТРЕЛЕЦ» ПЕЧАТАЕТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СОЗДАНЫЕ И В ЭМИГРАЦИИ, И В МЕТРОПОЛИИ, РЕЦЕНЗИРУЕТ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ, ВЫШЕДШИЕ НА ЗАПАДЕ И В РОССИИ, ПУБЛИКУЕТ НЕИЗВЕСТНУЮ И ЗАБЫТУЮ ПРОЗУ 10-Х — 20-Х ГОДОВ, ОСВЕЩАЕТ ТВОРЧЕСТВО РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ-НОНКОНФОРМИСТОВ, ДАЕТ ОПЕРАТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВЫСТАВКАХ РУССКИХ СВОБОДНЫХ ХУДОЖНИКОВ В ЕВРОПЕ И США, МОСКВЕ И ЛЕНИНГРАДЕ. В ЖУРНАЛЕ ПОМЕЩАЮТСЯ СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ КАК РУССКИХ, ТАК И ЗАПАДНЫХ КРИТИКОВ И ИСКУССТВОВЕДОВ, ПОСВЯЩЕННЫЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ, ЛИТЕРАТУРЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. В ПОРТФЕЛЕ РЕДАКЦИИ НА 1986 ГОД: НОВЫЕ ПРОЗАИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА, ЮЗА АЛЕШКОВСКОГО, ГЕОРГИЯ ВЛАДИМОВА, ЮРИЯ ГАЛЬПЕРИНА, ВЛАДИМИРА МАКСИМОВА, ЮРИЯ МАМЛЕЕВА, ВИКТОРА НЕКРАСОВА, ВАДИМА НЕЧАЕВА, ДМИТРИЯ САВИЦКОГО, СЕРГЕЯ ЮРЬЕНЕНА И ДРУГИХ ПИСАТЕЛЕЙ-ЭМИГРАНТОВ; РАССКАЗЫ, ПОСТУПИВШИЕ К НАМ ПО КАНАЛАМ САМИЗДАТА ИЗ СССР; СТИХИ ДМИТРИЯ БОБЫШЕВА, ВАСИЛИЯ БЕТАКИ, НАТАЛИИ ГОРБАНЕВСКОЙ, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, АЛЕКСАНДРА РАДАШКЕВИЧА, МОСКОВСКИХ И ЛЕНИНГРАДСКИХ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ПОЭТОВ; В РАЗДЕЛЕ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ» ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОПУБЛИКОВАТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СОВРЕМЕННОМУ ЧИТАТЕЛЮ РАССКАЗЫ, ПОВЕСТИ И РОМАНЫ КОНСТАНТИНА БАЛЬМОНТА, АНДРЕЯ БЕЛОГО, ГАЙТО ГАЗДАНОВА, АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА...

ВАС ЖДУТ ВОСПОМИНАНИЯ ДЕЯТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА, ИНТЕРВЬЮ С ПИСАТЕЛЯМИ, ПОЭТАМИ И ХУДОЖНИКАМИ, СТАТЬИ ВЕДУЩИХ КРИТИКОВ И ПУБЛИЦИСТОВ ЭМИГРАЦИИ.

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕСЫЛКУ: 36 ДОЛЛАРОВ ИЛИ 336 ФР. ФРАНКОВ.  
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛОВ ЗА 1984 И 1985 ГГ. (ВМЕСТЕ) 55 ДОЛЛАРОВ ИЛИ 500 ФР. ФРАНКОВ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕСЫЛКУ.

●  
ЗАКАЗЫ И ЧЕКИ ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

В США — ALEXANDER GLEZER, 286 BARROW STR., JERSEY CITY, N.J. 07302 U.S.A.

В ЕВРОПЕ: ALEXANDRE GLEZER, CHATEAU DU MOULIN DE SENLIS, 91230, MONTGERON, FRANCE.

**1** третий год издания  
январь 1986



Директор  
МАРИ КОШЕН

Главный редактор  
АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

Художественный редактор  
ВИТАЛИЙ ДЛУГИЙ



Фото:  
АРТУР ВЕРНЕР  
НАТАЛЬЯ ШАРЫМОВА



PUBLISHERS: Third Wave Publishing house, a project of  
(C.A.S.E.) the Committee for the Absorption of  
Soviet Emigrees, 80 Grand Street  
Jersey City, New Jersey 07302  
Arthur Abba GOLDBERG, Chairman.

Адрес редакции в США:  
ALEXANDER GLEZER  
286 Barrow St., Jersey City, NJ 07302  
U.S.A.

Адрес редакции во Франции:  
Alexandre Gleser  
Chateau du Moulin de Senlis  
91 230 Montgeron  
France



Цена номера — \$3.50 28F. 9D.M.  
Годовая подписка — \$36.00 336F. 107 D.M.

Просьба добавлять на пересылку \$1

Подписчикам журнал доставляется  
за счет редакции

THIS PROJECT IS DONE AS A PUBLIC SERVICE BY THE  
COMMITTEE FOR THE ABSORPTION OF SOVIET  
EMIGREES FOR RUSSIAN SPEAKING INDIVIDUALS  
THROUGHOUT THE WORLD INTERESTED IN THE  
CAUSE OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOM FOR INDI-  
VIDUALS. FOR ADDITIONAL INFORMATION CONTACT  
JUDITH M. WHITE AT 80 GRAND STREET, JERSEY  
CITY, NEW JERSEY 07302. PHONE #201-332-7962.

© 1984 by "Strelets" All rights reserved

Library of Congress Catalog Card  
No; 84-8582 ISSN; 0747-7287

- 4 ВЛАДИМИР МАКСИМОВ — ЕГОРЫЧЕВ.  
ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА «ЗВЕЗДА  
АДМИРАЛА»
- 6 ЛЕВ ЛОСЕВ — ВОСЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ
- 8 СЕРГЕЙ ЮРЬЕНЕН — ЭМИГРАНТКА  
ЭММА. РАССКАЗ
- 12 ОЛЕГ ОХАПКИН — «ГОРОД МОЙ!  
ЛЕДЯНАЯ МОЯ КОЛЫБЕЛЬ!..» СТИХИ
- 14 ВАСИЛИЙ БЕТАКИ — ДВАДЦАТЬ ЛЕТ В  
САМИЗДАТЕ. О ТВОРЧЕСТВЕ ТРЕХ  
ПИТЕРСКИХ ПОЭТОВ
- 18 МИХАИЛ ГЕЛЛЕР — СЛУЧАЙ С «БОСОЙ  
ПРАВДОЙ»
- 18 АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ — БОСАЯ ПРАВДА.  
ПОЛУРАССКАЗ
- 22 ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ  
ЗИНОВЬЕВЫМ — «НЕ ЖЕЛАЮ НИЧЬЕГО  
БЛАГА»
- 28 ОТ РЕДАКЦИИ «СТРЕЛЬЦА»
- 30 ВИКТОР НЕКРАСОВ — ПРАЗДНИК,  
КОТОРЫЙ ВСЕГДА И СО МНОЙ... ЭССЕ
- 33 СЕРГЕЙ ЮРЬЕНЕН — ЖИЗНЬ ПОСЛЕ  
ЖИЗНИ. ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА  
ВЫСОЦКОГО
- 36 ОЛЕГ ЦЕЛКОВ — «ПРОЛЕЙ СЛЕЗУ...» ИЗ  
ВОСПОМИНАНИЙ
- 40 А. ДАВЫДОВ — РУССКИЕ ВЫСТАВКИ  
НА ЗАПАДЕ, 1985 ГОД
- 42 АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР — МОНЖЕРОНС-  
КОМУ МУЗЕЮ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
- 45 НИКОЛЬ ЛАМОТ — МУЗЕЙ СОВРЕМЕН-  
НОГО РУССКОГО ИСКУССТВА

## ОТ РЕДАКЦИИ

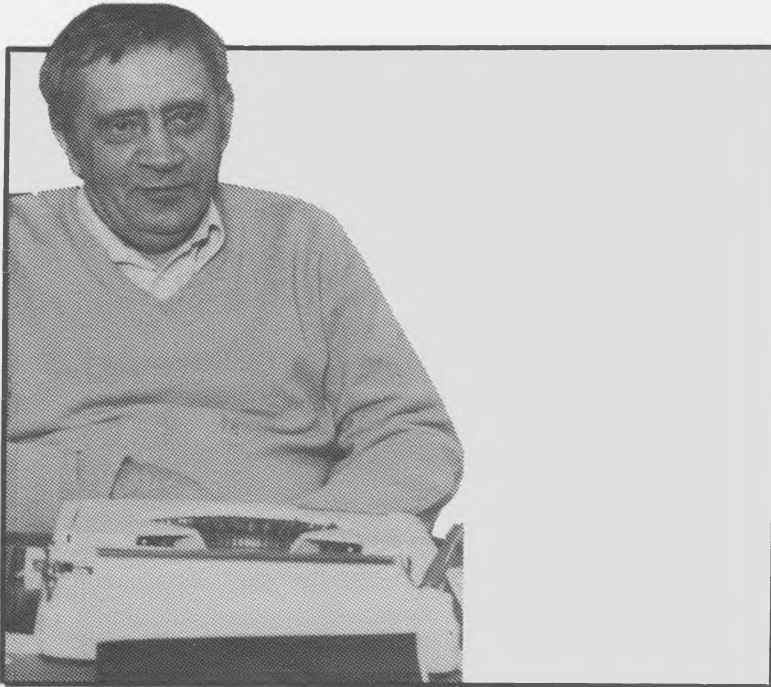
Дорогие читатели!

Несмотря на все трудности финансового характера, "Стрелец" вступает в третий год своего существования. Спасибо вам за верность и добрые письма! С наступившим Новым годом вас, и всего вам наилучшего!

На первой странице обложки Владимир Высоцкий. Если бы он был жив, в этом месяце ему исполнилось бы 47 лет. Фотография из архива М. Сорокина

На последней странице обложки репродукция работы Дмитрия Плавинского "Евангелие от Иоанна", холст/см. техника, 1966.

Материалы авторов, проживающих в тоталитарных странах, в том числе в СССР, печатаются без их ведома



**Владимир Максимов**

## ЕГОРЫЧЕВ

Отрывок из романа  
«Звезда адмирала»

В СЛЕПЯЩЕЙ БЕЛИЗНЕ СОЛНЕЧНОЙ СТУЖИ ВСЕ ВИДИМОЕ ВОКРУГ — ДЕРЕВЬЯ, ЛЮДИ, ДАЖЕ РОССЫПИ РЕДКИХ ДЕРЕВЕНЬ НАД ОКОЕМОМ КАЗАЛОСЬ УГОЛЬНО-ЧЕРНЫМ. ТЕМНОЙ ЛЕНТОЙ ТЯНУЛСЯ АРМЕЙСКИЙ ОБОЗ СКВОЗЬ СВЕРКАЮЩИЙ НАСТ ПРИИРТЫШСКОГО РЕДКОЛЕСЬЯ, СТРУЯСЬ ИЗ-ЗА ОДНОГО ГОРИЗОНТА, ЧТОБЫ ГДЕ-ТО ВПЕРЕДИ СТЕЧЬ С ДРУГОЙ. Со стороны могло пригрезиться, что у этого обоза давно не было ни конца, ни края и что извилистая вереница санных повозок уже опоясала всю землю и теперь вращается вокруг нее наподобие медленной карусели.

В жажде тепла и спасения люди в повозках тесно жались друг к другу, напоминая издали бесформенные комья смершей земли, и лишь по хрупким дымкам их дыхания да по исступленному блеску надежды в глазах можно было догадаться о тлеющей в них жизни.

Завороженным взглядом Егорычев следил за ползущей из-под саней мерзлой колеи, вслушиваясь в себя, в свою память, в свою короткую, но такую пеструю и хлопотливую жизнь.

Сколько Егорычев себя помнил, судьба швыряла его из стороны в сторону без отдыха и оглядки. Не успевал он вытащить ноги из одной передраги, как тут же попадал в следующую.

Едва осознав себя и окружающий его мир, он уже трясся в переселенческом "стольшине" через всю Россию, мимо завожских покосов, уральских круч и таежного бурелома к молочным рекам и кисельным берегам Приамурья, где ему тоже не суждено было пустить корни сколько-нибудь надолго.

Тишь в те поры стояла над Россией душная, обманчивая. Где-то под спудом, под грузной толщей ленивой земли вырвался, все нарастая и нарастая, грозный нутряной гуд, выплеснувшись, наконец, в июле четырнадцатого кратким, но режущим, как вспышка молнии словом: война!

Уходя по мобилизации, отец ласково наставлял Егорычева на будущее житье:

— Жись, Филя, поперек нас пошла. — В заскорузлых клешнях его подрагивала махорочная самокрутка, а сам он смотрел прямо перед собой, не мигая, будто в огонь или во что-то другое, еще более завораживающее. — Кто знает таперя, когда кончится, а, може, и вовсе не кончится. Придется тебе, Филя, без отца горе горевать, успевай только подпоясываться. — С жадностью затянулся, выдохнул вместе с дымом: — Убьют, калекой приду, все одно ты теперь в доме за хозяина.

Но и хозяйствовать долго Егорычеву не пришлось: в конце шестнадцатого вышел и его срок.

И снова, только в обратном порядке потекла мимо него страна, пока путь его не уперся в бруствер окопного рва где-то под Черновицами.

Из прошлого в памяти осталось лишь вытянутое следом за ним виноватое от растерянного отчаянья лицо матери внизу за окном вагона да уплывающий в сумерки протяжный перебор гармошки: как родная меня мать провожала!

К тому времени, по всему видно было, война выдыхалась. Хотя и постреливали с обеих сторон, но больше так, не высываясь, поверх головы, скорее для остротки, чем с умыслом. Окопники месили грязь во рву, покуривали, поругивались беззлобно, отсыпались коротко в чадных землянках в ожидании почты или скорого замирения. Небо над землей провисало низко и грузно, будто вот-вот собиралось рухнуть.

По окопам и землянкам серыми голубями перепархивали листовки. Писалось в них по-разному — и попроще, и позакорыстей, и так себе, но обещали все и — все: землю, волю, уважение и даже царствие небесное не далее, чем за ближней рекой и не долее, как к четвергу.

Временами над окопами кружили немецкие "шерманы" и тоже осыпали солдатские головы печатными ворохами легких обещаний, но, в отличие от своего — заграничной выделки матерьял споро раскуривался, не оставляя во рту саднящей горечи.

Егорычев бумажки почитывал, благо, в грамоте сызмала поднаторел, только посулами не прельщался, помнил отцовскую выучку: "Обещанного, Филя, три года ждут да еще тридцать три опосля чешутся!"

Так бы и дотянуть ему за окопным бруствером до первого братания, если бы случай не повернул его планиду еще на один полный оборот.

Надо же к тому времени стать, чтобы на очередной переключке заполошный взгляд ротного упал на него и задергался пристально:

— Сибиряк, говоришь?

— Никак нет, вашбродь, тульские мы.

— Водохлебы, значит! — подмигнул ободряюще, осклабил прокуренными зубами. — Не прочь, думаю, по деревне с Георгием пройтись?

– Отказываться грех, вашбродь.

– Ишь ты, еще и говорок! – зовуще кивнул уже с полуоборота. – Айда за мной.

В землянке у ротного жилось не вольготнее, чем в прочих: та же темь, та же копоть, та же, спирающая дух смесь табака и пота. Только на месте железной времянки вроде стола – деревянный щит на двух стоячих крестовинах с бумагами вразброс и остатками еды поверх.

Ротный смаху раздвинул бумажные вороха на столе, сдернул со стены флягу, из фляжки же ополоснул кружку, налил больше половины, пододвинул гостю:

– Угостись, солдат, – в упор уставился выжидающе, – разговор легче пойдет.

– Не балуюсь, вашбродь.

– Молоканин, что ли?

– Зачем – молоканин, отец не баловал и мне не наказывал!

– Ну, ну, неволить – грех...

Только теперь Егорычев по-настоящему разглядел ротного. На узком, горбоносом лице вразброс расставленные с горячечным отсветом глаза казались чужими, настолько не вязалась их яростная озабоченность с этим, будто выточенным лицом и ладной – широкая грудь конусом к талии – фигурой.

– Вот что, солдат, дело у меня к тебе проще простого. – Из вороха на столе он вытянул чистый лист бумаги, – как у нас на Руси говорят: или грудь в крестах, или голова в кустах. – Карандаш в его извивчивых пальцах подрагивал и крошился. – Правда, кресты, солдат, у нас с тобой под вопросом, зато кусты будут на каждом шагу. Слушай меня и на ус наматывай...

По речам ротного выходило, что получен приказ высмотреть поближе немецкие расположения для возможного прорыва на этом участке, а сделать это можно только с торчавшей прямо против ротной позиции высотки, опущенной низкорослым кустарником. Высотка легко простреливалась со всех сторон, зацепиться на ней интереса никто не имел, и поэтому она считалась как бы ничьей.

В предрассветных сумерках им с ротным предстояло пробраться туда, днем нанести на карту конфигурацию немецких позиций и затем, с наступлением темноты вернуться назад.

– Твое дело, солдат, в случае надобности прикрыть отход, остальное – моя забота. – Сдвинул глаза к переносице, насмешливо прищурился. – Не боишься, солдат?

– Перебоюсь, вашбродь, притерпелся, страшней войны все одно не будет, выдюжу.

– Ну, ну, – ротный отвернулся и как-то сразу сник, ссутулился, стал меньше ростом, – иди, отсыпайся...

Ночь настала – ни звезды, ни проблеска с безмолвной стужей, схватившей землю хрупким ледком. С хрустом проламывая под собой ледяной панцирь, Егорычев полз следом за ротным, и земная твердь гудела под ним от его груза и напряжения.

Там, в темноте крошечной ночи, впереди и вокруг Егорычева жил, устраивался, клекотал взыскующий и мятежный мир. Люди в нем пили, ели, спали, влюблялись, путешествовали, наживали деньги и разорялись, молились Богу и богохульствовали, рыли окопы и отстреливались, но никому из них не было никакого дела до него, рядового Филарета Егорычева, крестьянского сына тысяча восемьсот девяносто восьмого года рождения, уроженца деревни Губино, Бобрин-Донского уезда Тульской губернии. И только стылая земля, по которой

он полз, прижимаясь к ней и в нее втискиваясь, понимала и принимала его иступленное одиночество, сливаясь с ним в эти тягостные для них минуты в одно целое. И лишь в ней он ощущал сейчас отклик и сострадание. И лишь в ней он прозревал теперь опору и спасение. И неожиданно, как бы помимо воли, в нем вдруг с предельной отчетливостью сложилось: "Чего все не поделим-то?"

Когда продравшись сквозь колючую изморозь кустарника, они, мокрые и продрогшие, выбрались, наконец, на взгорье и перед ними возник нижний обзор, впереди уже занимался жиденький рассвет.

– Залегай, солдат, – не оборачиваясь, чуть слышно прохрипел ротный. – До ночи времени много.

День длился томительно долго. В серой промозглости его зигзаги немецких траншей еле проглядывались и, если бы не штопорные дымки над ними, можно было бы подумать, что там давно никого нет.

Ротный сначала долго колдовал над своим планшетом, чертыхался вполголоса, сплевывал в сердцах, резко поводя плечами, потом откинулся набок, завернулся с головой в шинель и сразу, будто провалившись в сон, затих, как сурок.

Егорычеву не спалось. Разглядывая внизу, впереди себя, смутный чертеж немецких траншей, он думал о том, почему на земле все так перепутано, что ему вместе с ротным приходится высматривать сейчас место, куда, может быть, уже завтра, врежется их пехотный клин, чтобы стрелять, колоть и душить таких же людей, хотя и другой нации, не сделавших ни ему, – Егорычеву, ни его ротному ничего худого? Зачем, отчего, за что?

Знать-то он, конечно, знал, много об этом кругом молвы кружило, что каша заварилась из-за убитого кем-то австрийского наследника, но ведь, хоть и жалко невинного, его не воротить, сколько ни убивай и ни калечь друг дружку, сколько ни круши и ни жги чужого добра, сколько ни захватывай барахла или пленных! Чудны дела твои, человече!...

В этом горестном недоумении его и настигла дрема. И снился ему знойный сенокос под Елифанью. Мать в белом платке, как в коконе, только одни глаза озорно светятся из-под него в сторону сына: "Что, Филенок, маленько силенок, умаялся?". Вилы в крепких облитых солнцем руках матери казались почти игрушечными, так легко и споро вырастал перед ней стог.

– Филя-я-я! – кричал с соседней делянки отец, поблескивал потной чернотой лица, расплывался ласково, подзадоривал. – Подмогни маманьке, без тебя ей не управиться!...

Егорычев подавался было к материнскому стогу, но тот вдруг, всей своей душной громадой обваливался на него, не оставляя ему времени, чтобы посторониться или выпростаться...

Он очнулся придавленным к земле грузной тяжестью чужого тела и сразу же уперся глазами в мясистое лицо под каской, шепотно пахнувшее на него смесью никотина и спиртного:

– Русь капут...

Егорычев инстинктивно рванулся было из-под навалившейся поверх него туши, но неожиданно услышал сбоку усталый голос ротного:

– Отбой, солдат... Ни креста тебе, ни куста, отвоевались...

Так, не успев начать, Егорычев и отвоевался. У судьбы, видно, имелись на него свои особые виды.

## ЛЕВ ЛОСЕВ



### стихотворений



#### ЗЕМЛЯ

Стелле

Весь этот шарик, Стелла,  
есть голова без тела.

На лоб надвинув кепку льда,  
несется он незвесть куда.

Вглядимся в глаз его мазут:  
как слезы, корабли ползут.

Вглядимся в скул концлагеря.  
"Смерть вырвала из наших ря..."

Чей это шепот-полусвист,  
дыханье хладное зимы?

"Смерть vyr...", как будто зубы мы,  
как будто смерть – дантист.

#### СОНЕТ

Сомнительный штабс-ротмистр Фет  
следит за ласточкой стремительной,  
за бабочкой, и мир растительный  
его вниманием согрет.

Все это – матерьял строительный,  
и можно выстроить сонет,  
и из редакции пакет  
придет с купюрой убедительной,

и можно выстроить амбар,  
а то ведь старый подгнивает.  
Читатель, вздвухи самовар,

в раздумье чай свой допивает:  
"Где этот жид раздобывает  
столь восхитительный товар?"

#### ЛЕТУЧКА

Роевнам, Цуцелев и Дебилл-Цековский  
сошлись, чтобы накатать телегу.  
Сначала Цуцелев чего-то вякнул.  
Дебилл подпрыгнул, гыгикнул и крякнул.  
Роевнам неожиданно пукнул,  
но тут же с укором взглянул на Дебилла:  
дескать, что ж вы, товарищ, портите воздух!

#### ЛЕВЛОСЕВ

Левлосев не поэт, не кифаред.  
Он маринист, он велимировед,  
бродскист в очках и с реденькой  
бородкой,  
он осиполог с силой глоткой,  
он пахнет водкой,  
он порет бред.

Левлосевлосевлосевлосевон-  
ононононононононон чуда,  
он предал Русь, он предает Сион,  
он пьет лосьон,  
не отличает добра от худа,  
он никогда не знает, что откуда,  
хоть слышал звон.

Он аннофил, он александроман,  
федоролюб, переходя на прозу,  
его не станет написать роман,  
а там статью по важному вопросу –  
держи карман!

Он слышит звон,  
как будто кто казнен  
там, где солома якобы едома,  
но то не колокол, то телефон,  
он не подходит, его нет дома.

## Маяковскому

### 1. РАССКАЗ КОМПОЗИТОРА И. КОЙЗЫРЕВА О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ КВАРТИРУ

Размышлять, как надолго соседский пацан-онанист  
запрется в сортире на этот раз,  
дрожать по утрам, как осиновый лист,  
не слишком ли громко скрипел матрас,  
различать пять чайников по голосам,  
платить за кретинов, оставляющих свет,  
у соседки угадывать по глазам,  
харкала она в суп или нет.  
Хватит! не зря я мотался на БАМ,  
"Сюиту строителей" творил на века,  
за "Едут, едут девчата на бал"  
у меня диплом ЦК ВЛК –  
СМ и из авторских прав три куска –  
я все это вкладываю в ЖСК!

В новой квартире будет у нас благодать.  
Бобика переименуем – Рекс.  
Перекуем мечи на оральный секс,  
т.е. будем трахаться и орать  
сколько влезет, за каламбур пардон,  
но главное – ванная. Остальное потом.

...и пока моя ванна наливается бурля,  
я в системе "Сони" на полный врублю Вивальди,  
из серванта достану французский за двадцать четыре рубля,  
сами себе, старички, наваливайте и наливайте.

Я вхожу с полотенцем махровым и вафельным в кафельный  
мой сануз.  
Подходящее место для жизни – Советский Союз!

### 2. СТИХИ О МОЛОДЕЦКОМ ПАСТЫРЕ

Глянцевитая харя в костюмчике долларов за пятьсот  
дубликатом бесценного груза из широких штанин  
достает Евангелие и пасет  
телестадо страны, которой я гражданин.  
В ореоле бриолина мерцает хилый вихор.  
Он дает нам советы по части диеты, бюджета и моче-  
половой,  
и когда он кончает, взывает затруханный хор:  
"Господи, наш рулевой!"  
Засим налетает рекламная саранча,  
норовя всучить подороже Благуя Весть.

Но ангел-хранитель выключает телевизор, ворча:  
"Можно подумать, в атеизме что-то есть".

### 3. ПАРИЖ

...в черных чулках госпожа.

Ю. Кублановский

Настоящие русские умирают в Париже.  
Не потому, что к дому поближе,  
а потому что... Ну, в общем, Париж.  
Мертвые лебенсрауму не имут,  
но имут в Германии мерзкий климат.  
В Лондоне тоже не полежишь.

Кому-то это покажется диким  
но в Мичигане зарыт Деникин  
и в Массачусетсе Якобсон.  
Гробы изнутри здесь вроде матраса,  
с точки зрения местного среднего класса  
смерть – это красиво и как бы сон.

Еще остается утеха сноба –  
накрыться в Венеции крышкой гроба  
(композитор Г. Малер, слова Т. Манн).  
Смерть в постановке Лукино Висконти?  
Уж лучше в клочки на сирийском фронте,  
чем это кино и цветной туман.

Оно как-то проще в толпе Парижа:  
Подойдет, по-французски скажет: "Парниша,  
триста франков – пойдём?"  
Сердце расквасит не сентиментальность.  
Что нам Москва! Не за тем метались.  
Потом посмотрим, что будет потом.

### ПИСЬМО

Никто не приносил письмо.  
Оно пришло сюда само.  
На штампе мерзость,  
муть и мрак.

На марке ядовитый злак.  
Был адрес непристойно груб,  
и клей припахивал, как труп.

Бесстыдно сбросив свой наряд,  
подгнивших строк ощеря ряд,  
в витиеватой волосне  
оно придвинулось ко мне.

Я повалил его рукой,  
оно задрывало строкой,  
и подпись где-то на краю  
хрипела: "Я тебя убью".

Чтоб не прочесть, я снял очки.  
Я разорвал его в клочки.  
Предупредил жену: "Не тронь".

Потом пошел, развел огонь.  
И корчилось оно в огне.  
И искры прыгали ко мне,  
И жглись, визжа: "Ваш ис-крен-не..."  
Ваш ис-крен-не... Ваш ис-крен-не..."



сергей юрьенен

# ЭМИГРАНТКА ЭММА

рассказ

ЧАС ПИК УЖЕ ПРОШЕЛ, КОГДА В НАЧАЛЕ ДЕВЯТОГО ВЕЧЕРА ОЧЕРЕДНЫМ ЛЮДСКИМ ВЫБРОСОМ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ КОЛЛОНАДЫ СТАНЦИИ МЕТРО ВЫНЕСЛО НАРУЖУ ОЗАБОЧЕННУЮ ЖЕНЩИНУ. ДАЖЕ НА КАБЛУКАХ СВОИХ НОВЕНЬКИХ ФРАНЦУЗСКИХ САПОЖЕК И ВЫТЯНУВ ШЕЮ ОНА ДОТЯГИВАЛА ПЛАНКУ ТОЛЬКО ДО МЕТР ШЕСТЬДЕСЯТ ДВА. СОРАЗМЕРНО БЫЛА она шуплой, что угадывалось даже под ее старым зимним пальто на ватине. С первого взгляда, только эти анатомические подробности выделяли женщину в московской толпе, предопределяя несколько пренебрежительное к ней отношение: пигалица, мол.

Ей, впрочем, было уже 27. Рукой в вязаной перчатке она сжимала ручки дамской сумочки и жгуты пластикового мешочка, оттянутого тяжестью двух кило апельсинов и бутылки вина.

С минуту женщина вертела головой, пытаясь сориентироваться в полузабытом этом районе, а потом решительно пересекла растоптанный в жижу снег, мерцающие в нем трамвайные рельсы, поднялась на плотный снег противоположного тротуара. Здесь, в ожидании трамвая, люди стояли лицом к глухой кирпичной стене, читая наклеенные на нее самодельные объявления: "Ищу комнату...", "Обменяю комнату на однокомнатную квартиру..." Их было множество, этих бумажных полосок, отороченных бахромой — для удобства отрыва — телефонных номеров. На полусвещенной стене они проступали, подумалось женщине, как струпья. Кто-то огромный вдруг шагнул ей навстречу, и она инстинктивно отскочила с кромки тротуара в жижу. "Эй, п-постой!" Она ускорила шаг, услышав, как вслед ей сплюнули: "Подумаешь! Нашлась тоже..." Метрах в двадцати перед ней сияла большая перпендикулярная улица. Вот за этим углом на ней должен быть какой-то театр. В прошлую пятницу в "хирургию" привезли пятнадцатилетнюю, еще в сознании: пять ножевых в область паха... Женщина оглянулась. Нет, отстал.

Театр за углом был. Так себе, театрик. Кукольный. Прямоугольник электролампочек освещал скромную рекламу детского утренника "Спешите делать добро". На той стороне улицы, прямо напротив, обмороженные по краям, свети-

лись изнутри большие витрины одного из немногих тогда еще продовольственных магазинов, перешедших на прогрессивный метод самообслуживания. А может,пельменей пачку купить? — спросила она себя. Большую пачку замороженных, громахающих изнутри о картон — и сто грамм масла. Или даже сметаны... Да нет, какая сметана, у нее же нет с собой тары. Ну, просто с маслом: отварить и перед этим самым уплотниться. Так говаривал, возвращаясь из своих отъездов, Федор Игнатьевич, человек, которого до паспортного возраста шестнадцати лет она считала родным отцом: "А не уплотниться ли нам, доченька?" В то время он, правда, сохранял еще человеческий облик, хотя с международных рельсов в Пекин и Улан-Батор его уже перевели на внутрисоюзные... Нет, не уплотниться, мысленно отрезала она. Потому что если натошак не следует, то на полный желудок — еще хуже. Бокал-другой вина, апельсины — этого вполне достаточно.

Мимо театра, мимо отделения милиции, мимо ателье индивидуального пошива для господ офицеров — вниз по улице, а потом — ноги сами узнавали — налево в переулок, он был узкий и темный, и бесконечный, но вытолкнул ее — и это было неожиданно... — словно бы в поле. Оно было темное под черным небом, только справа, у разъезженной дороги, под столбом с лампочкой белелись сугробы. За ними, черно-белые, высились тополя — остаток недоспеленной старинной аллеи, которая сейчас подводила, конечно, не ко дворцу, а к трем многоэтажкам, озаряющим свои бледные стены электрическим излучением сотен окон. Тропинкой, натопанной через пустырь, она пошла, уверенно поскрипывая каблучками, к ближайшей из этих башен. Шесть лет назад здесь, новоиспеченная медсестра, она изловчилась стать женщиной. В той вот однокомнатной квартире: над бетонным козырьком крыльца в правом ряду два первых окна. Темные за поблескивающими стеклами.

Дверь дома слегка уже примерзла. Отдирая ее, женщина с силой дернула за ручку. И вошла.

Внутри, на лестнице, было тихо. Доносились только гневные голоса дикторов всесоюзной телепрограммы "Время".

На втором этаже она вошла и беззвучно закрыла за собой дверь правого отсека. Сюда выходили двери трех квартир,



и, хотя отсек не запирался, в нем была атмосфера известной доверительности, которую, главным образом, создавало общее помойное ведро. Накрытое неиспользованной посылочной крышкой, фанеркой с невыбитыми гвоздиками, оно тем не менее воняло даже зимой. Еще тут оставлены были детские санки. Загнутыми дюралюминиевыми полозьями кверху, санки стояли в собственной лужице, которую женщина осторожно перешагнула. Две двери были обиты дерматином, третья голая. Даже коврика перед ней не было. Ключ от этой двери женщина все это время сжимала в руке под перчаткой. Она переложила свои вещи в левую руку. Прикусила кончики перчаточных пальцев и потянула ее с руки, но, одеревенев, рука не удержала ключ. Выскользнув из перчатки, он со звоном подскочил на цементном полу — и ей стало жарко. Оглушенные своими телевизорами, соседи, однако, не выглянули на звук. Женщина быстро присела, стукнув при этом о цемент доньшком бутылки в мешке, подхватила ключ, разогнулась, вставила его в замок, открыла, шагнула во тьму и беззвучно заперлась изнутри. С мгновение она постояла, упершись лбом о дверь и переводя дыхание. Зашелкнув на замке штифтик внутренней блокировки, она отстегнула в своем пальто крючок облезлого кроличьего воротника.

Да, все тут было, как тогда — в смысле планировки. Справа комната, слева кухня. Еще левей — санузел. Совмещенный. Здесь ее выворачивало на рассвете, а что было до этого — полный провал. До провала же — ей наливали, она пила. Кубинский тростниковый ром "Caneу". Белый. До черной отключки. А потом она очнулась на кухне — вон на том топчане. И уже в санузле обнаружила, что трусов на ней нет, а то, что оставалось — комбинашка и пояс с черными чулками — пришлось срочно застирывать. Несмотря на дурноту. Повсюду вповалку спали и, чтобы не разбудить компанию, она так и ускользнула — без трусов, без эмоций, во всем облипающе-влажном.

Сидя на топчане в расстегнутом пальто и сапожках, она выкурила крепкую кубинскую сигарету. Эмоции, впрочем, были. Причем, сложные. Во-первых — облегчение. Потому как двадцать первый год ей шел. Пора. Так что этот камень свалился. Но под ним — и это во-вторых — было полное разочарование. С мужчинами оно ни в какое сравнение оказалось, чем то, чему она с упорством предавалась с пионерского возраста, несмотря на истязания, которым ее лет до тринадцати-четырнадцати, да, почти до комсомола подвергала покойница тетя Маша — лжемать. И последующие пересечения с противоположным полом только утвердили ее в убеждении, что так называемая "интимная близость" — это полный обман. Во всяком случае, в той роли, которую отводили ей. Актрисы. Или лучше сказать, аккомпаниаторши — в сольном выступлении самца. Фальцеты, теноры и басы — все они под занавес срывались на рык, в прерывистости которого было нечто искреннее, тогда как ей, ей так и не пришлось избавиться с ними от постоянного ощущения фальши. Ненужности ей всего этого, на самом деле. Одно время она считала себя фригидной — до тех пор, пока самый нежный и наиболее интеллигентный из ее любовников, уругваец, сорокалетний аспирант политэкономии, — он у них лежал, — не определил ее сексуальную индивидуальность кратко и, как ей показалось, малопримично: "Эмма, ты просто клиторальная женщина..." Может быть, может быть. У них была любовь, о которой в книгах не прочтешь. У него было изящное сухое запястье, волнующе поросшее редким черным волосом, но с исчезающе-нитяной голубизной вен. Чуткие, трепетные пальцы — она их целовала, облизывала, обсасывала по од-

ному. Какие пальцы, ах! "Ничего удивительного, — говорил лежащий ее любовник. — Я ведь начинал в своей стране, как вор. Да, да: как взломщик сейфов. А кончу, если повезет, профессором преступного мира". Так он шутил меланхолично, но ему не повезло, он умер. После удачной операции на сердце, в реанимационной, не приходя в сознание.

Женщина вдруг очнулась. Она была уже не на топчане, а в комнате. Окно было голое — ни штор, ни занавесок. Свет фонаря извне рассекал комнату по диагонали: подоконник, крашенный белыми, гладко блестел и озарен был вглубь весь потолок, так, что можно было пересчитать извивы шнура, на котором скособоченно висела большая лампочка-двухсот-ваттка. Под этим серебристым потолком она сидела в темноте. Пальто внакидку, подложив под себя ноги в чулках, у стола без скатерти. Вывернув запястье к свету, она сощурилась над часами. Потом отстегнула, положила на край. Замерше, на столе круглились произвольно раскатившиеся апельсины. Осязая пыль, она повела рукой по полировке и наощупь извлекла из сумочки кротко просиявший своим серпиком хирургический скальпель. Она с ним никогда не расставалась. На случай самообороны.

Вино у нее с собой было испанское: пятирублевая бутылка "Rioja" из магазина на Столешниковом. Задрав на бедра шерстяную юбку, она тесно сжала бутылку ладонями, плоть которых белела под краями чулков, и склонилась над горлышком. Срезала толстый станиоль колпачка и стала ковырять пробку. Неторопливо. Поддевала кусочки и складывала на стол. Остаток она протолкнула вовнутрь тупым концом скальпеля.

В этом доме если и пили вино, то гранеными двухсот-граммовыми стаканами, но на кухне она нашла огарок свечи, припаявшийся ко дну плоской консервной баночки, и фарфоровую чашку с отбитой ручкой. Она зажгла свечу, налила вина в чашку и пригубила. Сняла с кончика языка пробковую крошку и подняла голову. Сверху через потолок доносился телевизор — артиллерийские залпы, хриплые крики: "Вперед! За Родину!.." Это, верно, подходил к концу тот самый "Горячий снег", который Федор Игнатьевич еще в понедельник с похмелья жирно обвел в недельной телепрограмме красным шариковым стержнем. Засмотрелся он, что ли? С раздражением она опрокинула над столом сумочку, проверила, не застряло ли в ней еще и отбросила через комнату на чинно сложенный диван-кровать.

Горка запечатанных в фольгу импортных таблеток по-сверкивала в мигающем от телевизоров пламени свечи. Еще с таблетками наружу выползла ее косметика, заколки, все такое прочее и — фотоснимок. Цветной, он в данный момент лежал изображением к столу, являя матово-белую обратную сторону с многократно повторенным на ней миниатюрно-водянистым словом "Kodak". Отодвинув снимок, женщина прикурила от свечи сигарету и принялась за сортировку: таблетки к себе, косметику от себя. Так ее покойница-лжемать перебирала когда-то гречку. Между делом взглянув на часы, женщина пожалела плечами, выдавила на ладонь пару таблеток и запила вином. Уже была полночь. Она продолжала работу, вылушивая из фольги нежно-белые таблетки. Башенками по пять она их выстраивала вдоль края стола. Всего оказалось двадцать башенок, последняя неполная. Пусть будет 19. Вином она запила еще три таблетки и взяла апельсин. Аккуратно она прорезала скальпелем толстую пористую кожуру — так, чтобы плод раскрывлся розой. Спать ей еще совсем не хотелось, только в кончиках пальцев нарастала какая-то легкость, словно бы они

изнутри опустевали, а потом вдруг она на мгновение остановила скальпель, испытав мягкий толчок изнутри себя в мозг.

Барбитураты плюс алкоголь. Этой алхимии самоубийства она, как ни странно, не в реанимационной научилась. Однажды довелось ей провести сутки с одним членом Союза писателей, интересным собеседником, несколько, правда, заторможенным в известном смысле. Он, по его словам, планировал "взрыв с непредвиденными последствиями", чем ее очень заинтриговал за чашкой кофе в клубе политэмигрантов. В постели оказалось, что речь идет об издании на Западе очередного "Доктора Живаго". Учитывая возможность того, что в ответ на это сверхдержава способна, как в песне поется, "насулить брови", автор заблаговременно сблизился с политэмигрантами, подыскивая в их среде "средство передвижения" — жену. С тем, чтобы в случае чего ретироваться на законных основаниях. В этом смысле он наутро к Эмме охладил совершенно, но она удержала продемонстрированную им "формулу распада": две таблетки димедрола — сто грамм водки — двести пива. "Гремучая смесь! Мозги, конечно, при этом разносит, но выход кайфа обеспечен". Именно эту блаженную стадию она сейчас и проходила. Медленно, по дольке, поедая апельсин и любуясь его кожурой, распластанной на столе в форме когда-то в детстве виденной морской звезды.

Издали донесся шум заглохшего мотора. Потом ее будто бы окликнули извне. Галлюцинация? Тем не менее она спустила ноги на пол и подплыла к окну.

Зная, что находится она в самом центре восьмимиллионного города, она без удивления увидела внизу перед собой беспредельную равнину снега, озаренного месяцем. Слово бы не с высоты второго этажа смотрела, а из окна вагона, отцепленного посреди степи. Если бы не тополиная аллея, неизвестно кем и для кого разбитая здесь двести лет назад, вид был бы полностью безжизненный. Как на луне. Но оклик повторился.

Она повернула ручку на окне и распахнула раму. Воздух за окном был насыщен блестками инея. Они, эти блестки, осели на ресницах, которые замерцали. В этом ореоле она увидела: бежит женщина. . . . .

Эта женщина была вся в мехах, а по пятам за ней из аллеи, размахивая тяжеленным "атташе-кейсом", тоже выбежал словно бы медведь. В пыжиковой шапке и долгополой монгольской дубленке он весил не меньше центнера, но неся по снегу так, что только кусты отскакивали. Он бы и так догнал бы женщину, но за несколько метров он на ходу метнул в нее свой "атташе-кейс", сверкнувший никелированными полосками. Женщина рухнула лицом в снег. От удара "атташе-кейс" раскрылся, выбросив из себя грудку журналов в глянцевах западных обложках. Не почувствовав боли, Эмма до крови прокусила себе нижнюю губу: медведь не то, чтобы топтал, — вколачивал, вбивал в землю свою жертву, которая тем не менее, проявляя свойственную своему полу живучесть, пыталась из-под его ботинок выползти. Рычал он при этом вот что:

— Ты мне, блядь, р-родишь эти ключи! Р-родишь!..

В ответ из-под ударов взвизгивало:

— Финского замка тебе жалко? Финского замка тебе жалко?..

Потом она умолкла. Он тоже устал. Снял шапку и, отдуваясь, утерся. Увидел разлетевшиеся вокруг журналы.

— С-сука! — пнул ее, неподвижную. — Что я теперь Игорю Олеговичу скажу, а?

Стоя на коленях, он тщательно обтирал эти "Плейбои"

рукавом, прежде чем уложить. Женщина тем временем пришла в сидячее положение. С "атташе-кейсом" в руке он помог ей подняться.

— Ты как?.. Да ладно тебе дуться, а? Погорячились и будет. Я вот чего: давай сейчас к Звереву на Арбат. Так, мол, и так. Меня он примет, ну, а там... Как говорится, утро вечера мудреней.

— Если бы не шуба, — ответила она, — ты бы меня убил.

— Не убил же...

— В синяках теперь вся буду.

— И в синяках полюбим, ничего. Пошли!..

Взявшись под руки, они пошли обратно через поле, вскоре вновь превратившись в пару медведей. Сели в "Жигули", уютно осветившись на мгновение, — и пропали. Ровно си-ял месяц.

Мороза Эмма не чувствовала, и вообще ничего. Все же она сделала усилие, чтобы закрыть окно, после чего обнаружила, что на столе задуло огарок.

Но глаза ее уже привыкли к темноте.

Как многие его соотечественники, Федор Игнатьевич был человеком малокультурным, зато начитанным. По ее поводу он нередко цитировал общедоступный роман в стихах:

Она в семье своей родной  
Казалась девочкой чужой.

И при этом вздыхал.

Однажды девочка вбежала:

— Мама! А какая у меня история?

— Че-е-его? А ну, пойдя сюда. — Ее сжали женские колени.

— Что это еще ты выдумала?

— Я не выдумала. Я на гамаке качалась. А Эльвира Адольфовна говорит: "Бедная девочка, бедная девочка". А потом заплакала.

— А ты что?

— Ничего. "Почему вы плачете?" спросила.

— А она?

— По голове погладила и говорит: "Ты уже знаешь свою историю, девочка?" А я не знаю. Почему?

— Ну, я этой немчуре устрою!.. — мать вскочила. — А ты, ты иди гуляй. Нет у тебя никаких историй!

И девочка ушла. Тогда она как раз кончила первый класс. Федор Игнатьевич получил путевку в Дом отдыха железнодорожников на Черном море. Потому что у него двух пальцев на левой руке не хватало. А они устроились диким способом.

Однажды она пришла из школы — растрепанная, в ссадинах...

— Только честно, мама. Я — жидовка?

Они переглянулись.

— Бог с тобой, доченька! Мы — российских кровей.

— Да?! — вскричала она. — А почему я тогда черная в ая?!!

Пионерка стала кусать себя за косички и царапать на себе лицо. Ее насилу угомонили, а за вечерним чаем Федор Игнатьевич предложил версию, от которой девочка вспыхнула, как пион:

— А может, прабабушка твоя цыгана приголубила?

Поэтому, мол, не вполне наша мать.

Менструации у нее начались года на два раньше, чем у сверстниц, — в 11. "Девочка преждевременно развита", — неизменно заявляла на родительских собраниях учительница, отчего родители нормальных девочек запрещали им водиться с этой Эммой.

Книги, которыми пионерка компенсировала недостаточность общения, все эти "Консуэло" и прочие мопассаны, — бурного ее развития, увы, не приостановили. Она стала тихоней, но внешний мир ей обмануть не удалось: в тихом омуте черти водятся. Общеизвестно.

О том, что она испанка, Эмма узнала только в шестнадцать. Ее настоящие родители были из тех пяти тысяч *pinos*, "испанских детей", которые в 1937 из-под франкистских бомб были переправлены в Советский Союз. Эти "дети" подросли как раз к началу войны. На каком из фронтов — или это было в тылу? В ГУЛаге? — погиб бывший *pino*, ее отец — этого Эмма никогда не узнала. Что же касается матери, то как будто бы она умерла в эвакуационном эшелоне по пути в Среднюю Азию. В Ташкенте черноглазого младенца женского пола сдали в детский дом, где она приглянулась уборщице Маше.

Вот и все.

В отделении милиции Эмма сумела добиться, чтобы в графу "национальность" ей вписали: "Испанка". Эта щедрость, однако, не имела последствий: как известно, СССР — государство многонациональное, но гражданство у всех одно и то же, советское.

И еще был случай. За три года до того, как ей открыли ее историю, Эмма была в пионерском лагере. Однажды их посадили в автобусы и повезли в другой лагерь, тоже пионерский, но образцово-показательный. Как раз его в тот день показывали "посланцам Острова Свободы" — кубинцам. Этим приезжим кубинцам уже навязали алые галстуки. А у Эммы был серый берет. Прибалтийский. Но когда на этот берет она наколола подаренный кубинским негром значок с возгласом "*Patricia o muerte!*" и натянула его на свои иссиня-черные волосы, то советские пионеры, из чужого то есть лагеря, приняли ее за иностранку. "Куба?" — робко спрашивали ее пионеры в коротких штанишках, но уже с волосатыми икрами. И Эмма отвечала: "Si!" В тот вечер под озаренными дальним костром соснами она пользовалась безумным успехом. Впервые с кем-то целовалась, брала адреса, выкурила пол-сигареты, а один настоящий кубинец в форме и с бородой, приняв ее за свою, дал ей хлебнуть из карманной фляжки, после чего она чуть с ними в автобусе и не уехала, с кубинцами. Лучший вечер был в ее жизни. Хотя по-испански в то время она знала только "*Venceremos!*" и то, что на значке: "Родина или смерть!"

В то утро, уходя на дежурство, — она работала в день, — Эмма подсунула под рамку зеркала в прихожей фотоснимок. К зрителю он был обращен белой стороной, на которой рука Эммы оставила следующий текст:

Федор Игнатьевич, прощайте. Этой ночью меня не станет. Спасибо вам за все, что Вы для меня сделали. Счет в сберкассе я закрыла. В книге аргентинского писателя Х. Кортасара "Другое небо" Вы найдете 400 рэ. Знаю, что Вы их пропьете. Но перед этим постарайтесь все-таки привести себя в человеческий вид, а именно: купите новый костюм, смену рубашек и прочее. Ваша испанская дочь.

Если у Эммы при всей ее решительности все же оставалась тайная надежда на то, что отчасти подготовленная ею реакция приемного отца расстроит ее план хотя бы уже в процессе осуществления, то она просчиталась. Очнувшись, Федор Игнатьевич взял на кухне оставленный ею рубль, добрал еще пустыми бутылками и без четверти 11 уже стоял в очереди у дверей винного отдела. Он, правда, имел в виду только похмелиться после вчерашнего. Однако сорвался в запой, во время которого, как и обычно, он упорно избегал встречаться взглядом со своим отражением в зеркале. Только на третий день с омерзением взглянул на себя — фиолетово-желтый синяк вокруг глаза, вместо носа — бульба в прожилках, воспаленные губы. Дрожащими пальцами он сдвинул кожу щеки, треща седой щетиной — и увидел адресованную ему записку. На обратной стороне ее был вид, который ничего ему не прояснил. Какая-то забытая Богом глушь: докрасна выжженная андалузская пустыня, переходящая на горизонте в багровые отроги Сьерра-Невады...

Бреясь, он порезался в нескольких местах и залепил клочками газеты. Почистился наскоро, нацепил "Знак почета", планку орденов и побег к участковому, который, прочитав фотоснимок, только присвистнул.

К Рождеству Эмму нашли. На квартире испанского товарища и советского гражданина Эусебио N\*\*\*, который в данный момент на территории СССР отсутствовал, находясь в долгосрочной командировке по казенной надобности, а именно: под видом кубинского добровольца обучал военному делу вставших на путь борьбы за построение социализма африканских товарищей. Дело это вообще было тонкое.

Эмма лежала под своим пальто на полу, подстелив под себя старые номера газеты испанских коммунистов "*El Mundo Obrero*". Перед смертью она натянула себе на голову пластиковый пакет, тоже заграничный, чтобы, видимо, задохнуться во сне, если барбитураты в сочетании с алкоголем все же откажут. Но они не отказали. Для своего веса в сорок пять килограммов Эмма приняла избыточную дозу, и, как показало вскрытие, смерть наступила в результате остановки сердечной деятельности.

В морг для опознания пригласили группу испанцев из общества политэмигрантов. Деликатно отвернули простыню:

— Ваша будет?

Потрясенные испанцы переглянулись и ответили:

— Наша.

Перед моргом, на улице, их ждала еще одна испанка, которая всегда находила в себе большое внешнее сходство с Эммой, хотя все другие испанцы дружно ее в этом разубеждали. Как и Эмма, она тоже была эмигранткой, однако местом ее постоянного пребывания была не Москва, куда Эсперанца по воле родителей приехала учиться в Ломоносовском университете, а Париж.

Ежась и постукивая каблучками французских сапожек, она вспоминала сейчас, как за чашкой кофе Эмма ей сказала:

— Если мне откажут в возвращении, я покончу с собой.

Эсперанца ей, конечно, не поверила.

Все это было еще при Франко. Еще не был убит террористами семидесятилетний старик, президент правительства адмирал Карреро Бланко, и в информации об Испании местные газеты употребляли термин "фашистская диктатура".

Мюнхен, 1985

РАВНОДЕНСТВИЕ

*Мы были рождены в годину горя,  
Но для великой радости. И вот  
Уж тридцать лет надежда в нас живет,  
С отчаяньем и скорбью тайно споря.*

*И если нам дарована была  
На эти тридцать лет живая вера,  
Мы выжили, и нам не солгала  
Истории отпущенная мера.*

*Большой судьбой отмечены лишь те,  
Кто на пиру судеб не стусевался.  
Когда же горький кубок нам достался,  
Мы приняли и долю в нищете.*

*Но жизнь идет. Стой! Кто идет? – Господь.  
Что делать нам, рожденным в это время,  
Когда животный страх перебороть  
Уже нельзя, не заглянувши в темень?*

*Кто там во тьме, когда уже не тьма,  
Скорей, рассвет, и сумерки так зыбки,  
Что очертанья путника весьма  
Расплывчатые и можно ждать ошибки?*

*Светает. Равноденствие. Весна.  
Великий пост. В грядущем солнце всходит.  
Стой! Кто идет?.. И видно по погоде:  
Природа просыпается от сна.*

1975

ОЛЕГ ОХАПКИН

ГОРОДУ МОЕГО ДЕТСТВА

*Город мой! Ледяная моя колыбель!  
Слюдяное мерцание стекол, метель,  
Завыванье печурки, чухонская стынь,  
Лед, Коломна, Беллона, Фонтанка-ледынь...*

*Всюду Мойры, двойная секира и мгла.  
Тускло в сумерках бабкина светит игла,  
И сестренка в платок пеленает батон,  
Да за стенкою крыса катает бидон.*

*Всюду горе и хвори, и злой неуют,  
И знобящая грусть, и часы отстают...  
Штукатурка в следах чьих-то жутких когтей...  
Безвиновное детство военных детей.*

*Дровяные сараи, подвалов герань.  
Материнская молодость. Мирная рань.  
И воскреснопоющая всюду пила,  
И все детство – недетские наши дела.*

*И над всем этим – Город, встающий из мглы,  
Засверкавший лучом золоченной иглы,  
Возрожденный трудом и любовью святой,  
Осветивший нам детство своей красотой.*

*Арки, полуколонны, Нева, купола...  
В этом Городе, помнится, греза была.  
Не моя, но знакомая с детства заря –  
Влажный сумрак и листья желтей янтаря.*



**«город мой!  
ледяная моя колыбель!..»**

*В этом Городе... Что же я!.. В Городе том  
Легендарном, янтарном, кошмарном, святом,  
Сотворилась надмирная лирная грусть –  
Всероссийская сирая трель наизусть.*

*Что ж! Играй же, надрывная ветра свирель,  
Скандинавская зыбь, вест, безлистье, Адель,  
Бельт, Коломна, Беллона, мальчишеский бред  
И мужская секира убийственных лет!*

*Я вас видел и слышал в том Городе грез,  
Где растущий и рвущий мне уши мороз  
И пронзительно-желтая детства листва  
Обожгли мою душу огнем торжества.*

*И да будет всегда этот Город мой прав,  
Пусть превыше судьбы человеческой встав!  
Но и в этой ужасной его правоте  
Что-то будет не то. Видно, судьбы не те.*

1973



ПАМЯТИ АННЫ АХМАТОВОЙ

Что за имя родное – Анна!  
С детства помню икону. Мама  
Научила молиться ей.  
Красный плащ в потемневшей ризе  
И голубка на том карнизе,  
Где сиянье всего ясней.

На широкий наш подоконник  
Я взбирался, как в гору конник,  
И мечтал, и молился там.  
Надо мною сияло небо.  
Чуть саднило от синьки небо.  
Басурмане шли по пятам.

Но от Киева до Валдая  
Воспаряла седая стая  
Облаков, оседал туман,  
И волчица, по дебрям воя,  
Созывала волков для боя  
С песьим племенем басурман.

И пророчествуя, и зыблясь,  
Приходило виденье, доблесть  
Возвещая. И плащ пылал.  
И лампада в углу мигала,  
И гроза на дворе играла,  
И звенела в дровах пила.

И до времени упованье  
Вместе с сердцем вручая Анне,  
Я пророчицей звал ее.  
Мама Анна мне говорила:  
"Ангелица лицо явила –  
В каждой Анне вдовство свое".

Все, что взял я у нашей мамы, –  
Дарование древней Анны,  
И за это мне петь канон  
Патронессе высокой, ибо  
И на том я скажу спасибо,  
Что от матери мне дано.

Образ детства, уже нечеткий,  
Сохранил в этом сердце "Четки"  
Книга скрылась давным-давно.  
Я листал ее на Фонтанке,  
Повторяя имен останки,  
Как по четкам: она, оно...

Время, Анна... Теперь я слышу.  
Это слово проходит душу,  
Под ребро прободая плоть.  
И плотян отголосок эха,  
Будто шум внутри ядра ореха  
Живоносный вместил Господь.

\*\*\*

Как светлый облик, явлен на Фаворе  
Ученикам Твоим,  
Ты облаком покроешь лес и море,  
Туман и дым,

Весь этот мир и августовский тесный  
Немирный круг:  
Палящий день и мрак ночной окрестный,  
Холмы и луг,

И все черты пропавшего ландшафта,  
И сам Фавор,  
И все, что мы должны увидеть завтра:  
Земной собор,

Обедню золотую звезд и солнца  
При утренней луне,  
Когда Твой образ таинственный в сердце  
Позволит вновь преобразиться мне.

1974

И орешник, шумящий ныне,  
Показал мне свои святыни,  
Купиною пылая. В нем  
Бог творящий прорекся вкупе  
С моисеевым слухом, в скопе  
Всенародно искря огнем.

Это голос твой вещий, Анна!  
Он гвоздим на кресте и раной  
Отдается во мне. Прости!  
Я пришел на могилу эту  
К нашей гордости и поэту  
С малой лептой этой в горсти.

Анна, Анна! Ты слышишь, Анна!  
Вновь пустынна земля твоя.  
Воздохни же над нею сонно!  
Белоснежным взмахни виссоном!  
Слышишь, в небе весны осанна?..  
Кто поет? – Отвечает: "Я".

2.4.1976

## ДВАДЦАТЬ ЛЕТ В САМИЗДАТЕ О ТВОРЧЕСТВЕ ТРЕХ ПИТЕРСКИХ ПОЭТОВ

ЕЛЕНА ИГНАТОВА

Елена Игнатова — один из лидеров так называемой "второй культуры" — а проще, питерской самиздатской, литературы, того сравнительно молодого поколения, которое, разбуженное Пражской весной, возникло в литературе, но не в печати — в русской культуре, но не в советской. Это все те, кто и не пытался печататься. Позднее — году в 1979-1980 идеологические власти, пытаясь приручить этих поэтов, читающих стихи только на неофициальных вечерах, этих художников, выставляющихся только на квартирных неофициальных выставках, создали некий странный клуб, пообещав даже общий сборник издать для всех поэтов, членов этого клуба. Но многие клуб игнорировали, понимая, что создан он не столько с целью признать этих, так сказать, "молодых" писателей и художников, сколько с целью, согнав их в кучу, надзирать за ними, а то и пытаться воспитать их. Тем же, кто поддастся этому воспитанию, светил сборник в официальном издательстве... Только почти никому из "поверивших в благие намерения властей" сборника так выпустить и не удалось, а большинство вошедших в клуб из него постепенно вышли, понимая, что на этот раз КГБ Ленинграда не выдумало велосипеда — все та же старая идея, которую в советских учебниках по истории называют зубатовщиной.

Ну как, к примеру, в каком-нибудь Лениздате или Совписе издавать такие стихи?

Принимай же отчизну! Прими  
Заповедник советской России:  
Жесть и известь секретных НИИ,  
Низколобых — подъезды пустые!

И даже не эта грустная и сатиричес-

## Литература метрополии: взгляд из Парижа

кая картина пугает ортодоксально-советских редакторов, просто само творчество Игнатовой, как и большинства ее ровесников не укладывается на диване прокрустовых правил соцреализма.

Еще в 1976 году, когда первая книга стихов Елены Игнатовой вышла в Париже, в издательстве "Ритм", я в предисловии к ней писал, что Игнатова, поэтически живущая в Петербурге, физически живет в Ленинграде. И вот эти, процитированные строки — это и есть тот серый, бетонно-жестяной Ленинград "секретных НИИ", а Петербург, сегодняшний Петербург — он существует одновременно, город-призрак, живущий в том же пространстве-времени, что и официальный город, в котором "на улице выйдешь — смердит, люд рабочий стекает с трамвая./ Важный гость от "Авроры" спешит, черным бесом метнется, пролает". Бесы Ленинграда не могут, однако, заслонить ангелов Петербурга, живущих своей жизнью, не пересекаясь с серостью и чертовщиной советского города:

Ангел, ты прохладен телом,  
Воздух жесток,  
Ангел, где тебе — из радужных пелен?  
В горечь терна и бензина? Перекресток  
И небесный, мутно-каменный подросток,  
В прорубь улицы склонен...

Это короткое стихотворение, на мой взгляд — ключ ко всей новой книге Игнатовой, рукопись которой я получил сравнительно недавно. Если взглянуть — город-призрак намного реальнее той нежити, которая у всех перед глазами, ибо хранит его таинственный закон неистребимости духа. В одиночестве, в пустоте того, что Мандельштам называл "Черным бархатом советской ночи, бархатом всемирной пустоты", в этом одиночестве, оказавшемся, кстати, не бархатным, а грубо-рогожным, звучит неистребимый голос русский, христианский, словно голос странницы:

О, безлюдие, бездружье мое!  
Ветер бедности, влекущий жильё.  
Мой домашний балаган на ходу,  
Восемь нищих городов на году...

По внутреннему религиозному звучанию Игнатова, автор таких стихов, как "Хлебный Ангел", кажется мне одним из самых глубоких поэтов по религиозному чувству, сквозящему в стихах

и пронизывающему их внутренним светом. Призрачный город ночью обретает материальные черты:

Город черен и точен белой ночью,  
Город, я в тебе горю червонной точкой,  
Как по вражеской земле, пугаясь шага,  
Мимо каменной гряды по оврагу...

По родному городу поэт идет, как по вражеской земле. Эта хищность, враждебность всему выходящему из ряда, враждебность всему нестандартному, а значит, и несоветскому — вот доминанта в образе Ленинграда, наслоенного с вечным Петербургом, но не сливающегося с ним. Эти города-враги не сливаются, к счастью, даже в том, что полностью зависит от властей — не сливаются архитектурно. Ленинграду — место на окраинах, в тех бывших пьяных предместьях вроде Гражданки или Рыбацкого, которые не были Питером. А Петербург живет несмотря ни на что. И в нем, среди других, живет пронзительная, лирически-печальная поэзия.

Теперь скажу: тяжеловесный Спас  
Поставлен на крови царя и террориста.  
Сюжет трагический, но отчего ребристо  
Лазоревый, глазурный, в завитках  
Собор сверкает весело для глаз?

И вот призрачный диалог царя с террористом слышит чуткое ухо поэта:

Тиран, правитель, если б знал ты тяжесть...  
Дурак, мальчишка, если б знал ты тяжесть  
Но общая их повенчала тяжесть  
Оплывший цветом лаковый собор...

И по этому поводу — столь редкая в поэзии Елены Игнатовой ирония:

Ай, молодцы, художники России!  
Отпраздновали, счистили, замыли...  
Любая кровь — фундамент для искусств,  
И молодцы сапожники России:  
Собор под склад сначала запустили,  
Потом взорвать хотели, да забыли  
И он стоит — ограблен, брошен, пуст.

Точно так же ограблен, брошен, пуст и весь город. Эту смесь духа и гранита поэты пытаются разделить... Но разделить даже Пушкину не удалось. Одна и та же суть воспринимается то враждебной, то родной. Ибо этот город, эта "брошенная столица", сохранившая себя сре-

ди соблазнов и стандартов мещанского века, многолика. Вот ее ночной образ. Образ сегодняшней, отравленный вовсе не петербургскими деталями:

Жаден жертвенник на Марсовом поле,  
Бабы каменные бродят на воле,  
В небе грязным пузырем птичья стая,  
Ходит алая вода под мостами.  
Город, город обезумел, ярится  
В новостройках — чудеса реализма:  
Кто с отбойным молотком,  
кто с винтовкой,  
Баба с каменным снопом наизготовку!

Сноп и тот становится орудием расстрела. Так официальное искусство, цель коего — расстреливать все духовное, не в силах справиться с тем духом Петербурга, который пережил и переживает всякие "приказные моды".

Дроги твоих мастеров, судьбы людские —  
все мимо.

Страшен бессмертья удел.  
В зимние ночи, о сад, ты покинут,  
стоишь нелюдимый,  
Камень улыбчив и бел.  
Пальцы изранены стужей, снегом решетку  
залепит  
Неба продольный разрез,  
Хоть бы слеза на ветвях, хоть бы  
страдания лепет,  
Нечеловеческий лес!

И в этом нечеловеческом лесу бродят неприкаянно десятки художников, без выставок, десятки поэтов — без книг. А ведь это поколение, о котором я говорю, к которому принадлежит и Игнатова — это поколение, которому сейчас уже в среднем сорок лет, а многим и больше. И уже возникло и приняло свои собственные очертания новейшее поколение, разбуженное польскими событиями конца семидесятых годов. Оно тоже родилось и выросло в Самиздате... Немыслимая культура, в которой вот уже два поколения мастеров — и первоклассных порой мастеров — вычеркиваются из искусства. А вместо них — либо плоские агитки некоторых бывших бунтарей-шестидесятников, либо безграмотные, никуда не ушедшие от пролеткульта и поныне, сочинения тех молодых, которыми набивают журналы "Нева", "Аврора", "Звезда". Этого никто давно не читает. А читают переписанные от руки или на слепых машинках стихи настоящих поэтов.

## ВИКТОР ШИРАЛИ

Виктору Ширали сорок один год. Первые стихи он прочел на каком-то вечере молодых поэтов в 1962 году. В 1966 году Ширали появился в литературном объединении Невского района, которым я тогда руководил. Стихи его всем понравились, и я привез его в Царское Село к Татьяне Григорьевне Гнедич. С тех пор Ширали годами посещал собрания ее кружка. Продолжал он приходить и в Невское объединение, где был, на мой взгляд, самым ярким из десятка молодых поэтов... Когда в конце 1976 года поэт дождался издания первой — и единственной книжки стихов, Гнедич написала к ней предисловие. Эти несколько страниц были, кстати, последними, что она вообще написала. Через две недели Гнедич умерла. А книжку поэта Ширали редакторы порезали, почистили, выбросили предисловие и издали в таком виде, что никакого представления о поэте она не дает. Правда, в книге нет ни одной советской, то есть газетной строчки, — просто потому, что Виктор Ширали в жизни не написал ни одной такой. Но, как точно заметил в небольшой статье о Ширали его друг, поэт Константин Кузьминский, "он, лиричнейший, представлен таким бескровным тихим импотентом. Но не согрешил. Эти стихи были им написаны и не по заказу, а по велению пера". Действительно, если не знать настоящего творчества Ширали — неплохая книжка, хотя и неяркая, но если знать — видно, что поэт остался за бортом собственной книги. И все же, при том, что сам я всяких редакторов повидал, но думаю, что ни один из них не мог бы сформулировать, почему он не пропустил в печать такие, к примеру, стихи:

Гуляло и галдело побережье.  
На берег набегали афродиты.  
Как вас зовут? — А что? А что? — Наташа...  
Гуляло и галдело побережье.  
Наваливалось бешеное лето,  
Меня томит, во мне тоскует нежность,  
По ком, не знаю, может, и по этой...  
Что ты сказал? — Что я люблю тебя...

Вот эта невысказанная простота, как ересь, эта лирика, сродни "Вольным мыслям" Блока, почему в книге ее нет?

Совершенно классический белый стих. Никакого абсурдизма... Да и откуда ему взяться, недаром Ширали как поэт был

единодушно отнесен к неоклассикам. Так, не сговариваясь, числили его и Татьяна Гнедич, и я, и критик Фаина Шушкова, пытавшаяся не раз опубликовать стихи Ширали в ленинградских журналах. Но в них, как говаривала Гнедич, "петербургских поэтов не печатают".

Ширали всегда оставляет читателю "возможность сотворчества", — писала о нем Гнедич. И еще она, говоря о лиризме стихов Ширали, писала, что это лирика смирения и дерзости, почтительности и вольности, в том самом, пушкинском смысле. Для нее лирика Ширали чем-то перекликалась с пушкинским "чудным мгновеньем".

Единственной из ярких вещей Ширали, вошедших в книгу 1977 года, оказалась поэма "Сад". И то неясно, как редактор — осторожная и благонамеренная Чечулина эту поэму пропустила. Нет, нет, поэма не политична, но это — лиризм вольности. Каждая строка этой маленькой поэмы вольностью напитана:

Живу в саду. Посередине сада.  
Обширного, как полная свобода.  
И даже, если где-то есть ограда,  
То я — клянусь — искать ее не буду.

Сад весь непокорен, весь шумит листвою, и главное — он непредсказуем, и в том, как поведет себя, и в том, где его границы.

Виктор Ширали написал одну небольшую статью о поэтическом творчестве. В ней, пытаясь анализировать свой опыт, он пишет очень точно: "Надо глубоко забыть, забить в себе мастерство, нажитое до нас, а свое собственное творить ежеминутно". Та же мысль звучит в его лирической поэме "Сопrotивление". Это даже не поэма, скорее, цикл стихотворений, связанных лишь единством настроения.

Разве ты, флейтисточка моя, сумей,  
Пальчиком по дырочкам станцуй...

И далее, как в симфонии, возвращающийся мотив прорывает ткань уходящей мелодии, образ флейты повторяется в иной ипостаси:

Брал меня Господь,  
И подносил к губам,  
В раны мои вкладывал персты,  
И наигрывал, и Аз воздам,  
Этой музыкою с Божьего листа.

Не суровый пророк Пушкина, не желч-

ный обличитель — лермонтовский пророк, нет, поэт у Виктора Ширали — это флейта Господня... А может, и человек вообще. А раз так, то не дано другим людям властвовать над душой человека, ибо кесарю — кесарево, и не более того. Поэт — инструмент в руках женщины и в руках Бога. Более никому он не подвластен... "Я умею только там, где больно, / я умею только там, где светит", — пишет он в другом стихотворении. И что опять за этими строками? За одной — женщина, "где больно", за другой — Бог, "где светит".

И потому поэма названа — "Соппротивление". Это сопротивление духа всему, что его пытается сковать. Поэма лирическая, поэма философская. И только одна часть ее — или, если хотите, одно стихотворение — третья, дает прямой, словесный ключ ко всем ее символическим образам:

Еще немножечко и мы переживем,  
Мы перемучим, пересможем, перескачем,  
Еще прыжок — и нас не взять живьем,  
Им не гулять и не нагнать удачу.  
Еще два-три стиха, один глоток  
Свободного. Пожалуйста в отдачу  
И все. И убежал. И — пнут ногой — готов?  
Готов, но вам уже не праздновать удачу.

Только на непосредственной страстной интонации держатся эти прекрасные строки. Сами слова в них — такие обычные, такие неяркие, но то нечто, которое создает поэзию из ничего, всегда присутствует в стихах Виктора Ширали. И не станет инструментом в руках человека то, что было флейтой Господней. Вот в чем его свобода. Вот в чем его поэзия, которую Татьяна Гнедич возводила к кругу младших современников Пушкина.

## ЗОЯ АФАНАСЬЕВА

Первые стихи Зоя Афанасьева опубликовала двадцать лет тому назад в газете "Вперед". Газетка эта — весьма местного значения, обслуживает два города — Павловск и Пушкин. Несмотря на официальность, какие-то капли царскосельского духа чудом жили тогда на этом небольшом листке.

Зоя Афанасьева — постоянный корреспондент этой газеты по всем музейно-выставочным темам, стихи тоже тут печатала. Но далее — далее ее не пускали и не пускают. Несколько раз я пытался

через комиссию по работе с молодыми авторами пробить ее стихи в Ленинградский День поэзии. Ни разу это не удалось, несмотря на активное содействие председателя этой самой комиссии ныне покойного Давида Яковлевича Дара. Интересно, что именно он и прозвал комиссию эту — комиссией по борьбе с молодыми авторами. Эту роль она выполняла и, как видно, выполняет и сейчас весьма исправно, стоя на страже монополии "поэтов-фронтовиков", как они себя сами именуют, люди этого поколения, этих ровесников октября или, как условно теперь зовут их в Питере — дудиных. Так вот дудины эти самые при всей их серости и безграмотности каким-то чутьем звериным, что ли, сразу выуживают то, что им чуждо. Чуждо не политически, чуждо просто тем неуловимым духом свободы, той раскованностью, которая так свойственна стихам Афанасьевой.

В них нет бунта, но в них нет и малейшей оглядки на то, что "будет говорить княгиня Марья Алексевна". Она пишет совершенно органически, мгновенно — стих создается на бумаге, не перечеркивается и переписывается, как у многих поэтов, а выговаривается сразу, полностью — в отличие от манеры Пушкина или Блока, это — манера Лермонтова или Мандельштама. Чисто стихийный, импровизаторский вид имеет всегда такое творчество. Две темы проходят через все творчество Афанасьевой: Петербург — Царское Село, тема, на которой неизменно лежат отблески золотого века русской культуры — времен Екатерины и Александра. И — тема внутренней свободы человека, той, которая никому не может быть отдана, даже продана. Внутренняя свобода в стихах Зои Афанасьевой есть ценность высшая по сравнению со свободой видимой, духовная — выше физической:

Мне говорят "свобода", а что мне делать  
с ней?  
Толочь ли в ступе воду среди трудов  
и дней?

Аллюзии с уравновешенным Гессидом, с его незыблемыми правилами жизни — изложенными в поэме "Труды и дни" — отталкивание от этого размеренного существования и вместе с тем ощущение своей кровной связи с теми, кого поэт называет "вечными странниками", а то и пиратами — связи с людьми

вечно к чему-то стремящимися, куда-то бегущими... или откуда-то. Поэтому многие стихи Афанасьевой — обращение к эмигрантам, слова к ним человека, который не в силах физически оторваться от почвы, но духом вольно странствующего:

Я не кричу останьтесь, и савана не шью,  
С моих небесных станций вам позывные  
шлю...

И вот этот раскол между телом и духом, между почвой и странничеством, выразился особенно резко в цикле стихов, который дошел до адресата через все границы и рогатки. Цикл этот напечатан в прошлом году в третьем номере журнала "Стрелец":

Не мне глядеть в глаза семи морей,  
Гляжусь в одно-единственно море  
Как в зеркало слепой судьбы своей —  
Не спрашивай, любимый, о Босфоре.  
Державен дух, но горе! плоть хрупка...

И этот мотив двойственности человеческой природы, нераздельность и неслиянность божественного и тварного в личности нашел свое конкретное выражение в этом цикле. Как всегда аллюзии, полускрытые цитаты в стихах Афанасьевой играют важную роль — они связывают ее строки с теми, которые незримо, но органично вливаются в ее стихи, напоминая о других стихах другого поэта..

Подводным рифом ранена ступня,  
Бродяжий посох вдруг не расцветает.  
Тень судного спасительно дня  
Над кельей чернокнижника витает,  
Как глянешь ты в глаза семи морям?  
Я в темноте все очи проглядела...

Искусственность границ, нелепое разделение мира, приобретающее трагическое звучание в стихах Зои Афанасьевой, образы города, вечно присутствующие то в виде пружины стиха, то — скромнее — в виде фона, становятся порой условными, современный мир вдруг приобретает явные черты начала прошлого века, так же как в прозе Окуджавы, накладывается век на век и не поймешь, где ты, вернее — когда ты. От Ахматовой и до молодого сравнительно Юрия Алексеева мы все так или иначе двушлановы и сквозь нынешний Питер просвечивает тот, тогдашний. А когда вдруг застилается туманом видение, когда



только современная действительность кругом, непрозрачная, мы сразу оказываемся не в своей тарелке:

Я выпала сегодня из гнезда  
Нелепого пристанища петрова,  
Воскресная опавшая звезда  
В руке горит рождественской обновой.

Когда же теряешь вдруг на время —  
всегда только на время, никогда навек —  
драгоценный дар двойного зрения, то это  
сразу придает горький тон стихам.

Прошлое нас не мучает, времени мрачен  
спектр,  
В небытие дремучее движется твой  
проспект...  
Плечи твои ссутулятся, дочки твои  
подростут,  
Чью-то другую улицу Ольгинской  
назовут.

Опять аллюзия — на Ольгинской жил  
несколько лет Булат Окуджава, которого  
— за прозу его — некогда называли в шу-  
тку "небесным патроном царскосельской  
школы"...

Булгаковские слова о том, что "ру-  
кописи не горят" все-таки верны. И бо-  
лее того — сам факт существования  
стихов-посланий, которые все время пе-  
ресекают все границы в обоих направле-  
ниях, говорит о том, что главная цель  
огромной машины советского государст-  
ва и всех его железных занавесов, всех  
границ на замке, предназначенных отре-  
зать навсегда подневольную литературу  
от свободной, попытка разрезать рус-  
скую литературу на две, на "здесь"  
и "там" — попытка эта с блеском прова-  
лилась. Русская литература едина. Хотя  
порой центр тяжести, в плане публика-  
ций и оказывается далеко за пределами  
российской территории. То на страницах  
парижского "Континента", то в нью-  
йоркском "Стрельце", то во франкфурт-  
ских "Гранях"...

Василий Бетаки



**ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ТРЕТЬЯ ВОЛНА»  
предлагает**

**ПОТАЕННЫЙ  
ПЛАТОНОВ**

Сборник неизвестных и ма-  
лоизвестных рассказов пи-  
сателя. Составитель и автор  
предисловия профессор Ми-  
хаил Геллер.  
180 стр. \$10.00

**ПОВЕСТЬ И РАССКАЗЫ**

**ПОТАЕННЫЙ ПЛАТОНОВ**

Чeki и денежные переводы  
просьба направлять по адресу:  
**ALEXANDER GLEZER**  
286 Barrow St., Jersey City, NJ 07302  
U.S.A.

## Случай с «Босой правдой»

В примечании к "полурассказу" Артема Веселого "Молодая гвардия" (№5, 1929) сообщала, что "ответ командира будет напечатан в одном из ближайших номеров". Ответ "Командира" появился в №10. Но не его ожидали редакторы "Молодой гвардии". Впервые ЦК ВКП/б, внимательно расследовав литературное произведение, принял специальное постановление. "Молодой гвардии" был объявлен строгий выговор "за помещение в №5 "полурассказа" Артема Веселого "Босая правда", представляющего однобокое, тенденциозное и в основном карикатурное изображение советской действительности, объективно выгодное лишь нашим классовым врагам".

"Полурассказ" А. Веселого (писатель сочинил неологизм, чтобы подчеркнуть подлинность приводимых фактов), никогда не перепечатывался. "Босая правда" заслуживает, как мне кажется, внимания как документ эпохи, свидетельствующий как о настроениях, царивших даже среди тех, кто воевал "за революцию", так и об отношении к "правде" в канун перехода к "сплошной коллективизации и уничтожению кулака как класса".

Заслуживает внимания и то, что "наш старый командир" Михаил Васильевич – имеется в виду Фрунзе – умер на операционном столе еще в 1925 году. Описание его смерти Борисом Пильняком в "Повести непогашенной луны" ("Новый мир", №5, 1926) вызвало негодование Сталина и осуждение публикации, как автором, так и редакцией журнала во главе с А. Воронским.

А. Веселый, член партии, учел вынесенный ему строгий выговор: следующие его произведения нареканий официальных органов не вызывали. Тем не менее в 1937 году он был, как сообщает "Литературная энциклопедия", "незаконно репрессирован" (как, среди многих других, Б. Пильняк и А. Воронский), а два десятилетия спустя "посмертно реабилитирован".

Михаил Геллер

## артем веселый

## ПОЛУРАССКАЗ

## БОСАЯ ПРАВДА

Дорогой товарищ, Михаил Васильевич!

Проведав о том, что ты, наш старый командир, живешь в Москве и занимаешь хорошую должность, мы, красные партизаны вверенного тебе полка, шлем сердечный привет, который да не будет пропущен тобою мимо ушей.

Горе заставило нас писать.

Надо открыто сказать правду – в жизни нашей больше плохого, чем хорошего.

Известный вам пулеметчик Семен Горбатов голый и босый заходит в профсоюз, просит работу. Какая-то с вот таким рылом стерва, которую мы не добились в 18 году, нахально спрашивает его:

– Какая твоя, гражданин, специальность?

– Я не гражданин, а товарищ, – отвечает Семен Горбатов.

– Восемь огнестрельных и две колотых раны на себе ношу, кадетская пуля перебила ребро, засела в груди, и до сего дня мне сердце знобит.

– О ранах пора забыть, никому они не интересны. У нас мирное строительство социализма. Какая твоя, гражданин, специальность?

– Пулеметчик, – тихо ответил герой, и сердце его заныло от обиды.

– Член профсоюза?

– Нет.

– Ну, тогда и разговор с тобой короток. Во-первых, такая специальность нам не требуется, во-вторых, у нас много членов безработных, а ты не член.

– Почему скрываете распоряжения нашей матушки ВКП? – спрашивает Семен Горбатов. – Не должны ли вы предоставлять работу демобилизованным вне очереди?

– Мы не скрываем распоряжений и даем работу молодым демобилизованным последнего года, а вас, старых, слишком много.

– Куда ж нам, старым, деваться, ежели не всех нас перебила белая контрреволюция?

– Профсоюз не богадельня.

– А скажите, сколько у вас в трестах и канцеляриях сидит кумовьев и своячениц?

– Не мешайте, гражданин, заниматься.

– Значит, – с бессильным презрением говорит Семен Горбатов, – вы смотрите на меня в моем отечестве хуже, чем на пасынка?

На эти слова он не получил ответа и, голодный, ушел от порога профсоюза.

Командир 2 эскадрона Афанасий Сычев, ежели вы, Михаил Васильевич, его припомните, боролся в наших рядах, начиная с Корнилова и включая до разгрома Колчака и Врангеля. В 1921 году названный Сычев вернулся на родину, чтобы поправить здоровье и разоренное хозяйство, но хозяйства никакого не оказалось, так как на плане двора торчали лишь горелые пеньки. Когда летом 1918 года Деникин занял нашу станицу, то в ряд с другими товарищами была повешена 60-летняя мать Сычева, Авдотья Поликарповна. Жена его с перепугу из станицы убежала на хутор Лоцилинский, где и вышла замуж за вдового казака.

Пришлось Афанасию со всеми своими бедами примириться. Принялся он, в силу партдисциплины, побивать бандитов: побивал их беспощадно до полного уничтожения и в камышах за войсковой греблей саморучно застрелил полковника Костецкого. Спустя столько-то времени, за неимением капиталов, пошел Афанасий батрачить к неприятелю своему Гавриленке. Тайком от хозяина посещал он собрания ячейки, но тот дознался и выгнал его, крикнув на прощанье:

— Сгинь с глаз. Как ты привержен к ячейке, пускай тебя ячейка и кормит.

Определили Сычева сторожем при исполкоме, но и тут его стергла неудача. На пасху, как большой любитель церковного звона, залез он на колокольню и, для веселости сердца, позвонил в колокола. За такую слабость Афанасий и был изгнан из партии как "интеллигент, зараженный религиозными заблуждениями", а он двух слов правильно подряд написать не умеет и Бога не признает с первых дней революции. Когда прочитал в газете об исключении, то бедняга заплакал и сказал:

— Орловские... Отрывают они сердце от тела.

Собрались мы, несколько партийцев, описали геройские подвиги Афанасия при взятии Ставрополя, вспомнили атаку под Лискамаи, изложили в подробностях действия 2 эскадрона на польском фронте и все это послали в райком. В ответ ни звука. Шлем еще одно заявление и опять ни гу-гу.

Тут мы и задумались...

Али и впрямь орловские такую возымели силу, что ни с беднотой, ни с нами, рядовыми коммунистами, и разговаривать не хотят?

Похоже — так.

Посиживают они в холодочке, чай гоняют, о массе не думают, сами себя выбирают, сами себе жалованье назначают.

Что же это за звери такие?

К концу гражданской войны, как вам, Михаил Васильевич, хорошо известно, красная сила толкнула и погнала из России белую силу. Хлынули с насиженных мест графы и графьята, буржуи и буржуйата и так далее, и так далее. Главные тузы утекли за границу, а всякая шушера — князишки, купчишки, адвокатишки, офицеры, попы и исправники — остались, как раки на мели, на кубанском берегу. Возвращаться в свои орловские губернии они побоялись — там их знали в лицо и поименно. Осели они у нас и полезли в советы, в тресты, в партию, в школу, в кооперацию и так далее, и так далее. Не отставали от них и местные контры, которые при белой власти вредили нам сколько могли. Все они хорошо грамотны и на язык востры — для каждого нашлось местечко, а куда орловский втерся, туда еще не одного однокашника за собой протащит.

В станице нашей на 30.000 населения — 800 здоровых и калеченых красных партизан. В ячейке 40 человек: партизан 4 (когда-то нас было 9); вдова-красноармейка 1; рабочий с элеватора 1; батраков 2; подростков 7; присланных из края 3; орловских и сочувствующих им 22.

Откуда орловским знать, с какой отвагой защищали мы революцию? Когда-то станица выставила два конных полка и батальон пехоты. В юрте нашем есть хутора, откуда все, с мальчишек до дряхлых дедов, отступали с красными.

Время идет, время катится...

Сычев до того дожил, что харкал кровью и кормится при тетке из жалости.

Орловские все глубже пускают корни. Дети их лезут

в комсомол, а внуки в барабанщики. Таких комсомольцев мы зовем золочеными орешками. Орловские нас судят и рьят, орловские ковыряют нам глаза за несознательность, орловские нас учат и мучат. Мы перед ними и дураки и виноваты кругом, и должники неоплатные...

Эх, Михаил Васильевич, взять бы их на густые решета...

Описываем нашу жизнь дальше.

Боец Егор Марченко живет по-прежнему в своей бедной хижине, так как дворца ему не досталось, хотя и много покори он земель и городов. Живет с той лишь разницей, что раньше было у него хотя и небольшое, но свое хозяйство, а ныне в погоне за куском ходит в плотничьей артели, имеет топор, пилу да полны горсти мозолей. Только сын Спартак поднимает дух Егора, а так хоть и глаз домой не кажи — теща ругает, жена ругает, прямо поедом едят. Иногда огрызнется Егор, а чаще бывает — припрут его, и он, не находя ответа, убегает ночевать к кому-нибудь из приятелей.

И в самом-то деле, оглянешься назад, вспомнишь, сколько мы страху приняли, сколько своей и чужой крови пролили, — и чего же добились?

Землю есть не будешь, а обрабатывать ее не на чем и нечем. Из 6 купленных станцией тракторов 2 достались кулакам, 1 совхозу, 1 колхозу и 2 куплены середняцким товариществом. Плывет из-под бедняка завоеванная земля кулаку в аренду.

Много оголодавшего народа уходит в города на заработки.

Газеты пишут, что Москва отпускает на поддержку бедняцких хозяйств большие рубли. До нас докатываются одни потертые гроши, да и то редко.

От большой семьи вахмистра Бабенко осталась в живых одна старуха Печониха. Самого Бабенка, как вы, Михаил Васильевич, помните, белые зарубили под Царицыным. Старший сын его — Павел, командовавший бронепоездом "Гроза", геройски взорвал себя, не желая предаваться врагу. Младший сын Василий погиб в горах Чечни от тифу, а дочь Груню на глазах у матери казаки занасиловали до смерти. Ходит Печониха с холщевым мешком под окнами и выпрашивает милостыню у тех же богатеев-казаков, которые занасиловали ее дочь и загнали в могилу мужа и двух сынов. В прошлом году мы выхлопотали старухе пенсию в 6 р. 50 к. Три раза ходила она в район и не могла получить. Орловские отовсюду гнали ее, как неграмотную, и ни один сукин сын не захотел войти в ее несчастье и никого не тронуло горе ее... Казаки редко кто подаст корку хлеба, больше надсмехаются — не могут они забыть, что Бабенко сам был природный казак и все-таки пошел за красных. От великого горя и обиды старуха стала полусумасшедшей, голова ее поседела и трясется, мальчишки дразнят ее трясушкой. Жалко ее нам, старым партизанам, но чем поможешь? Сами варим щи из крапивы, да и то через день.

Наш уважаемый старичок Черевков, израненный в схватках лихих за свет, ослеп, и ноги больше не держат хилого тела. В память о повешенной снохе и в память о сыне Дмитре, испустившем дыхание на офицерском штыке, осталось старику пятно от рода, то есть внучек Федька. Ночуют они где придется и кормятся кое-как. Вешает Федька деду на плечо бандуру и ведет его по базарам и трактирам. Старика кругом на сто верст знают. Сядет он в толпе, ударит по струнам перерубленной в бою рукой и дребезжащим голосом запоет:

Слышу, как будто, грохочут удары  
Прошлой войны, и тоска

Живо рисует нам страсть и кошмары.  
В бурунах пустыни песка  
Красных героев рассыпаны кости,  
Жизнь положивших в бою...

.....  
Кончились схватки, домой воротился,  
К участи горькой такой.  
Старый, седой, никуда не годился  
Всеми забытый герой...

Кто испытал гражданскую войну, на ком горят еще раны, того песня эта до слез прошибает. И бросают, бросают старику медяки, а иные язвят: "Довоевался".

Много крови, много горя... На всей Кубани и одной хаты не найдешь, которая не была бы задета войной. Все воевали, Михаил Васильевич, кто топчет надежды наши? Или разливали мы кровь свою ни за нет? Или, утратив силу в огне, кровью своею оконфужены?

Где-то и кто-то разъезжает по санаториям и курортам, а у нас в этом году на лечение 28 красных инвалидов совет ассигновал 47 рубликов. Прикинь, дорогой наш командир, по сколько это выйдет на голову. "Для нашего излечения, — сказал как-то страдающий ревматизмом бывший чекист Абрисимов, — жалеют кубанской грязи, а ведь мы ее, эту грязь, своей кровью замесили".

Было время, мы протаптывали для дорогой советской власти первые кровавые тропы, а теперь она забывает нас. Али Печониха и старичок Черевков не стоят маленького сожаления и товарищеской любви?

Кавалер золотого оружия Федор Подобедов, командовавший в разное время эскадронами, кавполком и бригадой в 20 году, памятным всем нам приказом РВС был отстранен от командования по несоответствию. А кто первым выступил на защиту молодой советской власти? Федор Подобедов. Кто, не жалея здоровья и не щадя жизни, гонялся по камышам за повстанцами-казаками? Федор Подобедов! Кто под Фундуклеевкой вырубил три сотни махновцев? Федор Подобедов со своей бригадой. Он, хотя и неграмотный, но многие ученые генералы и бандиты не знали, куда от него бежать.

Не мимо говорит пословица: "Лаял Серко — нужен был, а стар стал — со двора вон".

Рекомендовали Федору должность базарного распорядителя, но ему, как мужчине красивому и молодому, стыдным показалось расставлять в порядок возы и собирать с торговцев гривенники. К тому же и знакомые станичане зло насмеялись над красным командиром, дослужившемся до метлы. Прослужил он неделю, пришел в исполком, сорвал с груди медную бляху базарного распорядителя и бросил председателю под ноги.

Покрутился-покрутился наш Федор, и с горя запил. Потом назначили его в территориальную часть завхозом. К тому времени он уже окончательно пристрастился к водочке и однажды промахнулся — пропил двух казенных лошадей.

Потянули его под суд.

Сколько-то просидел он в городской тюрьме, потом вызывают на допрос. И кого же он встречает? А встречает он в трибунале прапорщика Евтушевского.

Вспомните, Михаил Васильевич, бой под Кривой Музгой. Федор с полком стоял от нас левым флангом. Так вот, тогда он и захватил в плен рыжего полковника и двух прапоров. Полковника, как водилось, отправили в штаб Духонина,

а за прапоров заступился дурак эскадронный Еременко: "Вручить им, — говорит, — по кнуту и посадить ездовыми, пускай кобыл гоняют, а мы над ними посмеемся".

И оставлены были оба прапорщика ездовыми в обозе второго разряда. Что с ними было потом — неизвестно, но война окончилась, и Евтушевский — вот он гад — незаменимый технический работник и следователь в трибунале. Сколько годов прошло, а сразу узнал Подобедова и с насмешливой улыбкой начал спрашивать:

— Помнишь, товарищ Подобедов, Кривую Музгу?

— Помню.

— Помнишь, как все вы издевались надо мной?

— Помню.

— Почему же такое, товарищ, был ты революционером, а стал конокрадом?

Разволновались в красном герое нервы, затрясся он от злости, но промолчал.

— Помнишь, — спрашивает опять следователь, — поход на Маныч? Косяки калмыцких лошадей гнали за собой, а тут и двух пропить не разрешают... Не восемнадцатый, верно, годочек?

Не стерпел Федор таковых слов, схватил у конвойного шашку и, потянувшись через стол, нарушил тишину — зарубил того незаменимого Евтушевского прямо в мягком кресле.

Дальше — больше, слышим, ушел Федор за Кубань в горы и увел за собой обиженных бойцов Коростелева, Хвороста, Шевеля, Сердечного, нашего батарейца Разумовского, Круглякова Гришску, что зарубил под Каялом гвардейского полковника, пулеметчиков Табаева и Калайду, однорукого Куренина, старика Бузинова, милиционеров Моисенку и Колпакова, бойцов Есина, Кабанова, Кошубу, Соченко и Назарку Коцаря. Долгое время бандиты гуляли по Закубанью — жгли совхозы, громили советы, вырезали коммунистов и комсомольцев, поезда грабили. Батальон ГПУ с помощью нас, местных коммунистов, хорошо знающих местность, расколотил банду, но самого Подобедова так и не удалось взять. Недавно из Турции прислал он брательнику письмо: клянет советскую власть и сообщает, что с курдами ему и то жить приятнее.

Горько и прискорбно...

Мы остались в живых по нашему счастью или по нашему несчастью. Тлеем в глухих углах, как искры далекого пожара, и гаснем.

Старая партизанская гвардия редет. Кто стал торговцем, кто бандитом, иные, как жуки, зарылись в землю и ничего дальше кучки своего дерьма не видят и видеть не желают, многих сломила нужда и, когда-то разившие грозного врага, теперь на мирном положении сами попадают в плен к кулакам.

Начальник конной разведки Яков Келень, при поддержке тестя, сумел обзавестись богатым хозяйством и не считает нас больше своими товарищами. Весной из города приезжал сотрудник истпарта и со всех нас, революционных бойцов, отбирал гром преданий о похождениях наших. Яков Келень не захотел с ним разговаривать и сказал только одно: "В Красной армии я никогда не служил".

Как же так, спросите вы, Михаил Васильевич, али совсем нет в станице живых людей?

Есть, есть умные и понимающие люди, да только у одного руки коротки, у другого совесть сера, этот рад — пригрелся и жалованье получает, тот глядит, как бы хозяйство свое приумножить, пятый бывает сознательным только на

собраниях, десятый и рад бы чего-нибудь хорошее сделать, да один не может.

Взять хотя бы секретаря нашей ячейки Маркина. Деляга парень — плакаты рисует, лозунги пишет, диаграммы составляет, уголки организовывает, на всех собраниях выступает, полы в ячейке и то сам моет: расходам экономия, — а на бархатное знамя и на приветственные телеграммы за год перерасходовали больше двухсот рублей. Попадешься Маркину на глаза и сейчас он сноровит тебя и занести в какой-нибудь список. На Троицын день встал на паперти и давай считать, сколько верующих заходит в церковь: для отчета. Старухи разодрали на нем рубаху и прогнали от церкви. На лекции или вечере обязательно переписшет, сколько присутствует мужчин, женщин и подростков, по сколько им лет, чем занимаются, велико ли хозяйство. Из-за этой самой переписки многих теперь и насильно не затащишь в Народный дом. Прочитает Маркин газету и в дневник запишет: "Столько-то минут потрачено на читку". Подметет комнату, заправит лампу и опять в дневник. Пойдет в столовку обедать, поговорит со станичниками и запишет: "Выдано столько-то и таких-то справок". Не поймешь, по дурости он это творит или от великого усердия — службист, сукин сын, как бывалошный фельдфебелишка из учебной команды. Живет на свое бедное жалованье плохо и вообще такой же пенек, как и мы, но все старается возвыситься над нами, а чуть что — грозит.

Или вот другой наш вождь — заведующий кооперацией, бывший кузнец Евтихий Воловод. Закрывает глаза портфелем, прибил, гад, на кабинетной двери лозунг: "Без доклада не входить".

За что мы, Михаил Васильевич, воевали — за кабинеты или за комитеты?

Живет Евтихий с капитаншей Курмояровой, которую он забрал в плен под селом Кабардинкой, где, как тебе, дорогой товарищ, известно, мы прижали убегающих деникинцев к морю и вырубали их там счетом шесть тысяч. В самый разгар боя Воловод набросил на капитаншу — она сидела на возу — набросил бурку и сказал: "Моя. Никто не мог до нее коснуться — застрелю". Не дожидаясь окончания войны, уволок он ее в станицу, и поживают они с этих пор на шее советской власти и ох не скажут. В усадьбе у них стоит раскрашенный в две краски сортир на замке. Сходит в тот сортир сам хозяин и на ключ запрет. Сходит хозяйка и опять запрет. Кухарка с кучером на огород бегают. Евтихий партийную школу кончил, потом какие-то курсы кончил, теперь нас уму-разуму учит. Он нам про строительство социализма, а мы ему про сортир напомним, он про хозяйственный рост страны, а мы про то, что жрать нечего, а у него полон двор птицы, поросят, две коровы, жнейка, косилка, четыре собственных лошади. "Вы, — кричит, — разложившийся элемент, в текущей политике ни уха, ни рыла не понимаете, мертвый груз на нашем коммунистическом корабле". "Чего же нам делать, — спрашиваем, — и куда деваться?" "Газеты читайте — и центральные, и краевые, и окружные, и местную стенную". "Нас, — хором отвечаем мы, — на всю жизнь Деникин выгучил, еще десять лет не будем ни одной газеты читать, а понять, чего надо, все поймем". И тут спускаем мы штаны, заворачиваем рубахи и показываем раны колотые, раны стреляные, следы шомполов и нагаек. Насчет газет, понятно, сгоряча брякнем, ну, да все равно...

На первое мая вечером, после речей и парада, вышли мы радостные прогуляться, но радость наша скоро помрачнела. На площади в окнах — большой свет: "Кафе-ресторан Прези-

диум". Подходим ближе и заглядываем в окна через занавески. На столах жратва и вина всевозможные. Музыканты играют и по залу в обнимку с девками и с базарными торговцами танцуют те, кто еще недавно говорил нам речи: секретарь исполкома Нечесе, фининспектора, два землемера, приказчики из хлебопродукта и славный наш кооператор Евтихий Воловод.

Скрепя сердце, мы отошли.

Голоса наши когда-то гремели на кровавых полях, а нынче они робко звучат в стенах канцелярий. Много погибло наших дорогих товарищей, но о них и помину нет местной властью. Нас, защитников и завоевателей, восхваляют и призывают только по большим праздникам да когда в нос колет — во время проведения какой-нибудь кампании, а потом опять отсывают в темный угол. Закомиссарились прохвосты, опьянели властью. Ежели таковые и впредь останутся у руля, то наша республика еще сто лет будет лечить раны и не залечит.

Ждем ответного письма.

С товарищеским приветом.

(Подписи)

1928.

## Читайте в следующем номере «Стрельца»

**Проза: Александр Журжин, Зинаида Гиппиус, Михаил Лемхин**

**Поэзия: Владислав Лён, Рина Левензон**

**Эссе Василия Аксенова**

**Интервью с Георгием**

**Владимовым**

**Воспоминания Юрия Иваска**

**Обзоры выставок русского искусства, рецензии на новые книги**



Беседа с Александром Зиновьевым



## «НЕ ЖЕЛАЮ НИЧЬЕГО БЛАГА»

*Интервью, которое взял у Зиновьева Жорж Нива\*, звучит патетично. Зиновьев – великий художник. Он сумел создать картину советского мира, казалось бы, гораздо более глубокую, чем какой-либо другой писатель-диссидент. Но это только видимость. Анализ Зиновьева недостаточен, хотя сам писатель уверен в обратном.*

*Этот анализ страдает чисто русским предрассудком, согласно которому Запад не знает России, тогда как именно на Западе и была воссоздана истинная история этой страны. Этот анализ страдает чисто советским предрассудком, согласно которому существуют такие науки, как история и обществоведение, способные указывать точные пути развития стран и формаций, между тем как невооруженным глазом видно, что это просто иллюзия, доставшаяся ему от марксизма-ленинизма, который Зиновьев ненавидит, но которым он в то же время пропитан. Навязчивая идея Зиновьева – это мощь коммунизма. Он убежден, что коммунизм – самая могучая сила, которая неизбежно придет к победе. Но ведь если это самая могучая сила, то, следовательно, на ее стороне и правда, следовательно, надо ей служить, даже если она и ненавистна. После первой книги ("Зияющие высоты", L'Age d'homme 1977г.) Зиновьева сравнивали с Селином. К несчастью, это сравнение остается в силе и даже усиливается. У Селина его гениальное видение было заражено больной идеей – антисемитизмом, – которая в конце концов взяла над ним верх. У Зиновьева же мы видим противоречие между настоящим художником и скверным теоретиком, прельщенным самым скверным национализмом. Кто из них возьмет верх?*

Ален Безансон

Жорж Нива – Вы недавно произвели сенсацию. Стало известно, что жестокий разоблачитель "гомо советикус" хочет вернуться с повинной в отчий дом. Об этом заговорили после публикации вашего интервью с журналистом Джорджем Урбаном, директором отдела информации радиостанции "Свобода" в Мюнхене. Бернар Пиво заявил тогда, что "точка зрения Зиновьева становится все более и более неразрешимой загадкой". Отдадите ли вы себе отчет, что Запад вас больше не понимает?

Александр Зиновьев – Одно слово по поводу этого, так называемого, интервью. В 1982 году я беседовал с Урбаном. Беседа эта предназначалась для книги, велась на английском языке, и я должен был ее до публикации просмотреть, так как английский язык не является моим родным языком. Я был последним, кто узнал о нашей беседе в "Энкаунтер". В ноябре прошлого года я отправил письмо главному редактору "Энкаунтер" Мелвину Ласки, в котором я

отказывался от авторства этого текста.

Ж.Н. – Публикация исказила ваши мысли?

А.З. – Плеханов сказал: "Дайте мне Новый Завет, и я обязуюсь доказать с помощью цитат, что его авторы были ренегатами". Беседа была сформулирована так, что, исходя из нее, можно было меня оклеветать. Моя позиция во взглядах на Советский Союз и сталинизм остается неизменной. Нечестно говорить о но-стальгии по сталинизму в моем случае.

\* Профессор русской литературы в Женевском университете, автор книг "Конец русского мифа" (изд. L'Age d'homme) и "Солженицын – вечный писатель" (изд. Le Seuil).

Я был подвержен репрессиям из-за моего антисталинизма еще тогда, когда многих моих критиков и на свете не было. После смерти Сталин перестал быть моим врагом. Я начал изучать сталинизм. Вы знаете, легко махать после драки кулаками. Где находились люди, когда сталинизм был реальностью? Многие — в тюрьмах. Но эти жертвы сталинизма не были врагами сталинизма. Что же касается меня, то я боролся, и если не попал в тюрьму, то это не моя вина.

**Ж.Н.** — **Еще немного по поводу вашей беседы с Урбаном. Сказали ли вы ему: "Да, конечно, я одобряю коллективизацию, я ее полностью одобряю"?**

**А.З.** — Можно, естественно, вытащить эту фразу из контекста, но что значит "Я одобряю"? Если я объясняю какое-то явление, то это отнюдь не означает, что я считаю его справедливым. Я не могу одобрять смерть только потому, что она объяснима. Надо отличать объяснение от одобрения. Я работал в колхозе, там же работала моя мать, братья и сестры. Нам знаком весь этот кошмар. Мы сбежали оттуда. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Миллионы людей покинули деревню в результате коллективизации. Я объяснил Урбану, что если им предложить вернуться, то они откажутся. У нас был очень хороший дом. Но вернуться в деревушку из шести домов? Коллективизация привела нас к тому, что мы покинули деревню и поселились в Москве, в десятиметровой комнатухе, вдесятером. Но вернуться к себе — да ни за что на свете! Коллективизация была ураганом, именно так мы ее и восприняли. В результате — мы учились в Москве. То же самое произошло и с миллионами других. Народ никогда не возвратится к своему прошлому.

**Ж.Н.** — **Часто приводят вашу фразу относительно чисток в Красной Армии. Утверждаете ли вы, что без этих чисток война против Гитлера была бы проиграна?**

**А.З.** — История — не предмет для морализации. Добрые намерения могут вызвать катастрофу. Следует считаться с объективным окончательным результатом. Вы думаете, что я лично одобряю репрессии? Эти офицеры были плохо обучены и не имели никакого другого опыта, кроме Первой мировой войны. Вследствие чисток в армии появились люди нового поколения, имевшие высшее образование. Я принадлежал к этому поколению, меня уговаривали стать

офицером. Деловые качества Тухачевского или Блюхера преувеличиваются. В начале войны из лагерей вернули много бывших офицеров. Но кто выиграл войну? Новое поколение. Говорят, что если бы репрессий не было, то в начале войны не было бы и больших жертв. Я же говорю, что эти потери вынудили власть вмешаться и ввести в экономике изменения, которые без этого были бы немыслимы, сделать индустрию более динамичной. Кто выиграл войну? Советский вчерашний школьник. Тормозило дело то, что он не мог подняться выше полковника.

**Ж.Н.** — **Урбан искажил ваши объяснения?**

**А.З.** — Нет, он опустил. Что я сказал? Я сказал, что без коллективизации и без индустриализации наша страна была бы в этой войне стерта с лица земли.

**Ж.Н.** — **Индустриализация прошла и в других местах, но без таких жертв.**

**А.З.** — Вы думаете, что Запад принял коммунизм с распростертыми объятиями? С первых своих дней коммунизм был его врагом, Запад только о том и думал, как бы его уничтожить. Это — факт. Гитлера просто выпустили против Советского Союза.

**Ж.Н.** — **Кто же это сделал?**

**А.З.** — Запад. Франция, Великобритания. Капиталистическая система!

**Ж.Н.** — **Можно также охарактеризовать Запад и таким словом, как демократия.**

**А.З.** — Я критикую сталинизм с детства. Но я не хочу быть просто идиотом, как все западные антикоммунисты. Я знаю историю СССР лучше, чем они. Была интервенция, или не была? Германия готовилась к войне против Советского Союза. Прочитайте-ка "Майн кампф"! Германия была реальным врагом. Мы ждали ее нападения в любую минуту.

**Ж.Н.** — **Как вы расцениваете пакт, заключенный между Сталиным и Гитлером?**

**А.З.** — Советский Союз не был подготовлен к войне. Вот откуда этот пакт. Скажем, бомбардировщик ИЛ-2 существовал уже в 1940 году, но для его серийного производства требовалось еще два года, и Сталин сделал все возможное, чтобы отсрочить объявление войны.

**Ж.Н.** — **Хорошо, но ведь вы знаете, что тем временем Гитлер захватил Польшу (Сталин тоже), Бельгию, Францию...**

**А.З.** — Если я скажу вам, что Сталин злодей, что это изменит? Я, например, ярый антисталинист, но поставьте меня во гла-

ве СССР: вы уверены, что я буду лучше Сталина? Нет. Ведь все объясняется системой и обстоятельствами.

**Ж.Н.** — **Между Германией и Советским Союзом были довольно тесные отношения.**

**А.З.** — **Союзниками они не были никогда!**

**Ж.Н.** — **Когда сталинская милиция выдала гитлеровской полиции коммунистку Бубер-Нейман, то была между ними связь?**

**А.З.** — Нельзя большие социологические проблемы сводить к судьбе одного человека. Я ничего не знаю об этом частном факте. Теоретические объяснения не могут учитывать каждый отдельный случай.

**Ж.Н.** — **Когда я читал вашу последнюю работу "Нашей юности полет" или "Евангелие от Ивана", у меня создалось впечатление, что отчаяние становится все более и более преобладающим чувством в ваших книгах и что ваш герой очень близок к самоубийству. Правильно ли я вас понял?**

**А.З.** — Вы очень близки к истине. Есть от чего впасть в отчаяние. Возьмите меня. В 1939 году я был мальчишкой в лохмотьях, и понимал, что коммунизм — это на века. Да, тогда я хотел убить Сталина. А что сегодня? Я пишу книги, которые имели бы колоссальный успех у меня на родине, но все стараются преградить им путь — как друзья, так и противники. Тем не менее, я знаю, сколько книг было туда отправлено подпольным путем... И здесь я написал много статей, провел сотни конференций... Как об стену горох! Да, отчаяние. Но это же историческое отчаяние. Понадобятся века, я не говорю, для того, чтобы изменить режим, но просто для того, чтобы только добиться права бороться против него. Подумайте о тех, кто там живет и понимает эту ситуацию... Вас тошнит от режима, и, тем не менее, вы не можете пальцем пошевелить. Находясь здесь, легко играть в стратегию. Все разговоры о реформах там — пустая болтовня. Кроме отчаяния ничего и не остается. Нужно отбросить последние иллюзии и только возмущаться, возмущаться, возмущаться смертельно!

**Ж.Н.** — **Вы часто произносите громогласные декларации против Запада. Когда я вас слушаю или читаю, у меня создается впечатление, что вы являетесь продолжателем ярко выраженной антизападной русской традиции.**

**А.З.** — В моей позиции нет ничего от

той русской традиции, о которой вы упоминали. Я полностью являюсь продуктом советского общества. Я хочу это общество изобразить как можно более правдиво, это моя писательская позиция. Запад в этом ничего не понимает. Почему? Первая эмиграция состояла из врагов коммунизма и ничего не могла сказать Западу о нем правдивого. Вторая состояла из коллаборационистов, сотрудничавших с Гитлером. Третья? Среди этой эмиграции нет никаких специалистов по обществоведению. Недостаточно только жить там или отсидеть там в тюрьме. Что же касается сотен западных советологов, то они оперируют совершенно неадекватными понятиями: демократия, партия, тоталитаризм, крестьянство и так далее. Если вы хотите что-то понять, все это надо выбросить в мусорный ящик.

**Ж.Н.** — Если говорить о тех волнующих проблемах, которые ставит перед Америкой в каждом выступлении Солженицын, то можно сказать, что впечатление, которое производит он, совсем иное, чем то, что производите вы.

**А.З.** — Это бывает лишь тогда, когда Солженицыну приходит в голову говорить о Западе или когда он раздражается одной из своих нелепостей по поводу советского общества. Солженицын имеет достаточно материальных средств, чтобы быть независимым. Учтите то, что он получил премию в Лондоне за то, что говорил о религиозном возрождении в СССР. Это доставляет Западу удовольствие. Но это чистейшая чушь. Никакого, даже самого незначительного религиозного возрождения в СССР нет. Я написал об этом статью. Но статьи такого типа не идут. За глупости, которыми дезинформируют Запад, платят бешеные деньги. А за правду не дадут и копейки.

**Ж.Н.** — В интервью, данном вами "Журнал де Женев", вы говорили, что на протяжении многих лет в СССР расплодились еврейская, армянская, грузинская и украинская мафии. Подобное рассуждение многим казалось оскорбительным и даже антисемитским. Согласны вы с этим?

**А.З.** — Обвинение в антисемитизме — чистая клевета. Меня также обвиняют и в русофобии. Я не имею ничего общего с национальными проблемами. Они меня не интересуют. В моей статье "Не все мы диссиденты", опубликованной в Италии, я объясняю, почему социальная ситуация в СССР не имеет ничего общего с национальными проблемами. Между

прочим, на Западе распространился чрезвычайно удивительный предрассудок. Считается, что русские эксплуатируют другие нации: украинцев, евреев, татар. Все они приезжают сюда в ореоле жертвенности. Это неправда. В СССР самый низкий уровень жизни у русских, образования — у русских и самый низкий социальный уровень — у русских. А если я говорю, что русские живут хуже всех, кричат, что я антисемит!

**Ж.Н.** — Вы присоединяетесь к Солженицыну?

**А.З.** — Какое отношение имеет к этому Солженицын? Это хорошо известный факт. Сталин его знал еще до Солженицына. И не думайте, что меня это волнует. Русский национализм невозможен при такой системе. Эта система приводит к денационализации. Сегодня так называемые нацменьшинства находятся в выигрышном (по сравнению с русскими) положении.

**Ж.Н.** — А евреи? Они тоже находятся в выигрышном положении?

**А.З.** — Я ничего не хочу говорить по этому поводу, чтобы не сказали снова, что я антисемит.

Исторически сложилось так, что евреи имеют и более высокий жизненный уровень, и более высокий культурный уровень, и более высокий уровень образования. Проводить параллель с часто употребляемым здесь сравнением с американскими неграми — глупо. Возьмите социальную структуру каждого народа, и вы увидите, что буряты устроены лучше, чем русские. Русские поставляют государству крестьян, рабочих, солдат, мелких служащих. Агентов КГБ тоже. Но вы думаете, что это поднимает культурный уровень русских? Возьмите список академиков, список членов Союза советских писателей. В них вы найдете меньше русских, чем чувашей. В СССР национальная, в частности, еврейская проблема никогда не занимала столько места, сколько она занимает сейчас. Раньше ничего подобного не было. В России никогда не было антисемитизма, серьезный же антисемитизм там попросту невозможен. Да к тому же он сейчас запрещен. Это результат западной пропаганды против СССР. Эти проблемы нам навязаны извне.

**Ж.Н.** — Но вы же, однако, жили там в 1948-1953 годах во время кампании против космополитов и ареста еврейских писателей, таких, как, например, Перец Маркиш?

**А.З.** — А вы знаете, сколько за это

время было арестовано русских? Сколько их было уничтожено? Кампания против космополитов затянулась надолго. Благодаря чему? Кто по-настоящему сражался со сталинизмом? Большинство противников Сталина погибло неизвестными, в то время, как аресты евреев сразу стали известны во всем мире. Вот другой пример. Сколько шума поднялось во всем мире вокруг отъезда семьи Сахаровых на Запад. Весь мир кричал об этом. И это происходило в то время, когда молодые офицеры были расстреляны по приговору военного трибунала. Кого это обеспокоило? Основными жертвами послевоенного периода были русские. Множество людей, из тех, кто выиграл войну, было уничтожено. Некоторые думают, что достаточно прочесть список, приводимый Хрущевым на XX-ом съезде партии, чтобы покончить со всем этим... Люди, которые сидели в лагерях, не сделали ни малейшего усилия, чтобы разоблачить сталинизм. Они возникли на сцене уже после этого разоблачения, они только использовали его результаты. Но кто способствовал этому разоблачению? Кто? Здесь либо фальсифицируют советскую историю, либо довольствуются приблизительными, поверхностными фактами. Реальные явления фальсифицируются или игнорируются.

**Ж.Н.** — Трудно согласиться с вами, когда вы говорите, что в русском народе нет антисемитизма. А погромы?

**А.З.** — Какие погромы? Прежде всего, мы говорим о времени после 1917 года. Русский народ — это не Емельянов или кто-то в таком же роде. Это сто двадцать семь миллионов человек. Русский народ — это народ, открытый всем. Он в принципе не есть народ-националист. Когда в бригаде нужно выбрать бригадира-еврея, то его выбирают. К тому же русский народ так рассеян, что уже больше нельзя говорить о нем как о народе. Мы пользуемся словами, которые уже не имеют смысла. Возьмите Москву. Там больше нет национальных русских связей. В то же время проживающие в Москве другие нации образуют группы, мафии. А у них ведь есть свои собственные республики.

**Ж.Н.** — Можете ли вы уточнить, что вы подразумеваете под словом "мафия"?

**А.З.** — Это группа людей, образующих структуру, которая защищает свои интересы. Например, московские татары. Они помогают друг другу, занимаются спекуляцией.



**Ж.Н.** — Но они нарушают законы или нет?

**А.З.** — Конечно. В принципе, это делают все. Но каждый на свой лад. Группа азербайджанцев, группа армян и т.д. Каждая группа делает это наиболее удобным для себя образом. Русский же человек, практически, не может быть выбран в Академию Наук.

**Ж.Н.** — Знакомы ли вы с тезисами Александра Янова, в которых говорится о "новых правых" в СССР и об угрозе русско-советского фашизма?

**А.З.** — Это — идиотизм! Фашизм запрещен в СССР. Национал-социалистские идеи в СССР — это абсурд. Меня занимают фундаментальные проблемы. Нации — это наследие прошлого. Коммунизм их нивелирует. Как ученый, я должен отбрасывать вторичные факты.

**Ж.Н.** — В 1976 году ваши французские читатели открыли в вас сатирика с необычным стилем, почти бесконечно развертывающим бесконечную ленту "фактологии". Ваши книги множились. Их стиль имел вид "дурной бесконечности". Чувствуете ли вы сами себя в меньшей степени творцом, чем выполняющей роль писателя машиной?

**А.З.** — Мои книги не есть бесконечность. В них присутствует сюжет, развитие... Это классическая структура с трагической развязкой. Я это могу вам показать. Я никогда не повторяю одну и ту же идею. Я повторяюсь меньше, чем кто-либо другой. У меня всегда одни и те же литературные методы, но я каждый раз поднимаю иные проблемы. В "Желтом доме" — это проблема оппозиционеров в СССР, в "Светлом будущем" — это советская идеология. Я не даю решения всех проблем сразу. Жизнь — это бесконечный поток. Что касается литературных методов, то те, что существовали раньше, ничего не стоят. Я не сатирик. "Желтый дом" — это плач. "Евангелие от Ивана" — это крик. Мрачная история моей страны — это и моя история, я ее продукт.

**Ж.Н.** — Откуда пришло ваше литературное творчество?

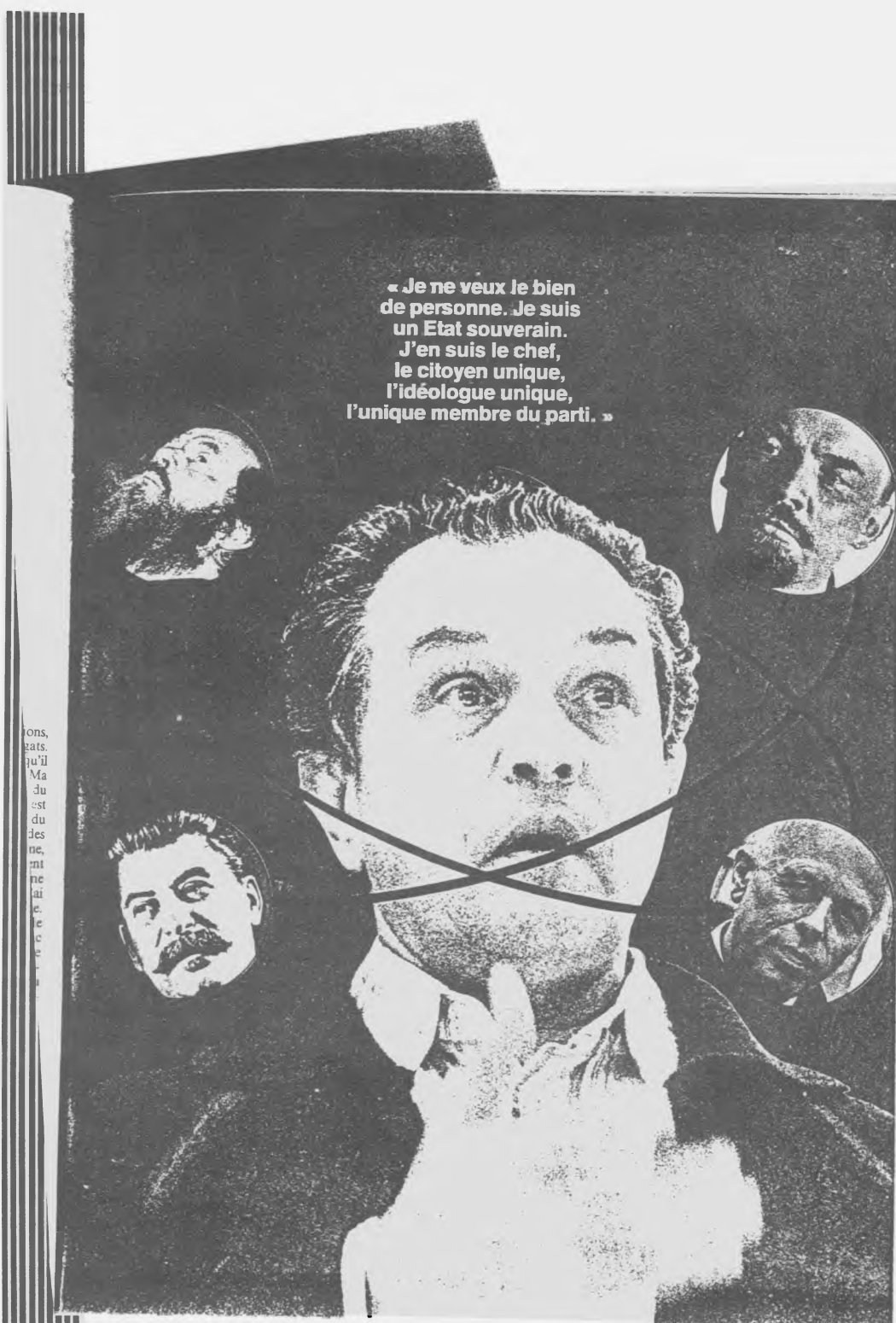
**А.З.** — Это открывается просто — я бунтовал против всего. Я всегда нахожусь в состоянии бунта. Логика? Я ее перевернул. Социология? И тут я встаю. Что такое традиционная литература? Это вот что — человек, так-то одетый, вошел в комнату и открыл форточку. Что мне до этого? Я создал литературу незначительного. У моих героев нет ни глаз, ни носа, ни одежды, ничего.

Они создают отхожие места. С виду это не имеет никакого значения. Мне не нужна психология. Я ничего не хочу, как другие.

**Ж.Н.** — И какова ваша роль как писателя?

**А.З.** — Ни миссии, ни пророчеств.

Не желаю ничего блага. Я — независимое государство. Я сам его глава, его единственный гражданин, его единственный идеолог. Единственный член партии. Это государство по названию Зиновьев. Но у меня нет блока ни с кем. Мой блок — это я. Это — все.



« Je ne veux le bien de personne. Je suis un Etat souverain. J'en suis le chef, le citoyen unique, l'idéologue unique, l'unique membre du parti. »

Иллюстрация из журнала «Экспресс» к интервью с А. Зиновьевым. В верхней части слова Зиновьева: «Я не желаю ничего блага. Я — независимое государство» и т.д.

**Ж.Н.** — Вы произвели на меня впечатление закоренелого ученого. Все квантовано, все сводится к математической модели. Вы говорите, что те, кто хочет вас понять, должны учиться у вас минимум три года. Учиться чему?

**А.З.** — Если я сделался писателем, то это потому, что я был один, а в науке быть одному нельзя. Мой приход в литературу—это в каком-то смысле моя научная капитуляция. Я понял свое общество и стал таким образом врагом номер один. Они это знали. Но только на одну теорему мне требовалось шесть месяцев. Я дошел до того самого места, после которого человек в одиночестве не может сделать ничего. Отсюда — мой переход в литературу. Это наука, объясняемая литературным языком, и литература на службе у науки.

Мои требования к читателям. Если это нормальный читатель, то я прошу его только понять мои выводы. Без всякой спешки, господа! Три года, это достаточно, если ученик хорошо подготовлен математически. Обучение всего мира — об этом вопрос не стоит. Пятерых человек будет достаточно. Но и пятерых человек не получается.

**Ж.Н.** — Что вы думаете о той степени вооружения, которой достиг СССР?

**А.З.** — Запад вооружается точно так же. Вообразите себе на минутку, что СССР был бы лишен атомной бомбы или что его вооружение не такое мощное. Вы уверены, что Запад не воспользуется этим, чтобы выдворить его из Кубы или Афганистана? Милитаризация всего мира — это неизбежное последствие международных отношений, какими они являются сегодня. Даже если на планете останутся только коммунистические государства, война не исчезнет, она станет еще более опасной — например, между Китаем и СССР. Войны между коммунистическими государствами будут еще более ужасными, это будут войны на полное уничтожение. Обсудим третью гипотезу: СССР стал единственной мировой державой на планете. Страна останется вооруженной, но под другим названием, в иной форме, с необъятной милицией. Ситуация станет ужасной. Каждый рабочий будет ходить с пистолетом за поясом из-за тенденции коммунизма к рабовладению. Без рабовладения нет коммунистического общества. Следовательно, военный режим, хорошо вооруженная страна, будут необходимы всегда.

**Ж.Н.** — Можно ли считать Афганистан примером этого растущего милитаризма и экспансии?

**А.З.** — Что касается меня, то я бы вывел советские войска из Афганистана. Русскому народу он не нужен. Но эта система имеет общую тенденцию к экспансии. Это как вода — она течет туда, где образовывается расщелина. Вода потекла в Афганистан. И по всей планете, при первой же возможности, течет советский поток. Эта массивная инфильтрация имеет место и в настоящее время по множеству различных каналов. Но, с другой стороны, такие утечки губельны для Советского Союза. Сегодняшняя внутренняя идеологическая дезорганизация такова, что эти внешние "утечки" следует притормозить. В противном случае существует риск американской агрессии. В экспансии есть пределы, которые не следует переходить. Советский Союз их давно перешел.

**Ж.Н.** — Вы не были диссидентом в том смысле, каким ими являлись Амальрик или Сахаров. Вы не щадили диссидентов в своих книгах. Что вы теперь о них думаете?

**А.З.** — Я был первым, кто представил диссидентов. Мои герои говорили о них с энтузиазмом или с враждебностью. Для меня это — одна из форм протеста в стране. Есть и другие, массовые формы протеста: антисталинизм, демократическое движение. Диссиденты — очень не многочисленны, не имеют опоры в народных массах. Диссиденты предали народ, которому хотели помочь. Они сами являются продуктом советской системы и стараний Запада влиять на СССР. В настоящее время это движение закончилось. Остались только отдельные личности. Что там теперь имеет место, так это "социальная оппозиция": люди, которые не выходят за рамки "коллектива".

Что же касается Сахарова... Я сейчас скажу вещи, которые не понравятся. Сахаров в меньшей степени жертва советской системы, чем диссидентов. Они разменяли этого большого человека на мелкую монету. Его заставили заниматься пустяками. Можете ли вы вообразить себе генерала, которого его солдаты тащат на передовую, чтобы лучше за него спрятаться?... Они выпустили Сахарова вперед, а сами разбежались, как крысы. Сахаров мог бы сделать что-то значительное в социальной оппозиции. А во что его превратили? Интересы крымских татар? Это хорошо, но каждому свои проблемы. Сахаров — это тот боль-

шой шанс, который оппозиционное движение упустило.

**Ж.Н.** — Можете ли вы уточнить свою идею социальной оппозиции?

**А.З.** — Я называю таковой ту оппозицию, которая является результатом нормального существования данной системы. В соответствии с нормами советского общества рабочие и крестьяне получают от общества больше, чем сами ему дают. Зато масса научных работников, инженеров, тех, кто пытается предложить какие-то социальные усовершенствования, страдает от несправедливого к себе отношения. Эти люди борются внутри своего коллектива. Они пока еще не осознали себя оппозицией. Это оппозиция в зародышевой стадии.

**Ж.Н.** — Есть ли у вас тому доказательство?

**А.З.** — Это все происходит внутри самой системы. Главное — это знать, кто будет секретарем местного комитета партии. Здесь ничего этого не чувствуют. Но на Западе есть несколько человек из этой социальной оппозиции, которые не являются диссидентами: физик Поликанов, режиссер Любимов, сам Солженицын или Ростропович. Ростроповичу очень хорошо платили, но коммунистическая система не адекватна его возможностям.

**Ж.Н.** — А вы сами?

**А.З.** — Я — типичный представитель социальной оппозиции.

**Ж.Н.** — И преподаватели, и врачи входят в эту оппозицию из-за того, что они принадлежат к низкооплачиваемым категориям?

**А.З.** — Это та социальная категория, которая поставляет людей для данной оппозиции. К примеру, мой герой из "Желтого дома". Он хочет проанализировать ситуацию внутри коллектива. Мой герой хотел бы приспособиться к коллективу, но для него это невозможно. Некоторые из членов этой оппозиции получают помощь сверху. Например, Ростропович в свое время. Без этой помощи они погибли бы. Это такие люди, которые не могут расцвести при советском режиме. Исследователь, который начал свою работу, не имеет права на открытие прежде, чем не пройдет по всем ступенькам лестницы. Это форма эксплуатации труда. Проблема в том, чтобы найти форму выражения этой оппозиции.

**Ж.Н.** — По-вашему, коммунистическая повседневность не может служить боль-

ше источником литературного творчества. Может ли оказаться темой для литературного творчества "коллектив"?

А.З. — Коллектив был уже такой темой. Например, лагерной. Но лагерная тема исчерпана Шаламовым и Солженицыным. Все, что в стране было накоплено, все уже выражено. Ничего тайного не осталось. Если сегодня вы объявите конкурс на разоблачение советского режима и привлечете к участию в нем шестьдесят тысяч советских писателей, то, держу пари, никто не скажет ничего нового. С этим покончено.

Ж.Н. — Однако, когда мы думали, что лагерная тематика себя исчерпала, появилась совершенно необыкновенная книга Василия Гроссмана...

А.З. — Меня поражает, что эта плохая книга могла хоть кого-то на Западе тронуть. Гроссман был заурядным советским писателем, но вот ветер подул в другую сторону, и он стал заурядным антисоветским писателем. Ни одной мало-мальски глубокой мысли! Если вы хотите прочесть книгу, над которой можно задуматься, то прочитайте "Москва-Петушки" Ерофеева.

Ж.Н. — Издатель Гроссмана издает и вас?

А.З. — Мало ли кто что издает! Но никто не пропагандирует так мои книги, как это делается для Гроссмана, Высоцкого, Маяковского, Шолохова. Вот что является литературным событием! Не только Гроссман.

Ж.Н. — Кстати, по поводу Шолохова: что вы думаете о предположении, что "Тихий Дон" является плагиатом, что Шолохов украл его у казачьего писателя Крюкова?

А.З. — Крюков был ничтожеством. Я анализировал эту проблему как специалист по лингвистическому анализу... Невозможен плагиат ничего не стоящей вещи. В этой книге одни длинноты и неловкости. Никогда Шолохову не была бы оказана какая-то помощь, если бы они знали будущее. Это несовершенная, но гениальная книга. В двадцатых годах книги диктовало само время. Необыкновенное время. "Тихий Дон" не был ничем примечательным. Он стал таким потом, в исторической ретроспективе.

Ж.Н. — Вы являетесь социологом. Солженицын хотел бы быть историком. Что вы думаете о его историческом романе "Красное колесо"?

А.З. — Я ценю Солженицына как духовное явление в России. Я ценю его

в "Круге первом" и "Архипелаг ГУЛАГ" как литературные произведения. Я повторю — как литературные. По поводу всего остального, по поводу его концепции, касающейся СССР — это умышленная фальсификация. "Август 14-го", "Ленин в Цюрихе" — я отвергаю их с исторической и литературной точек зрения. История уже прошла. Ее не переделать. История уже прошла. Но он не нашел с ней связи.

Ж.Н. — Вы говорите о фальсификации. Вы говорите — история уже прошла. Но ведь история — это непрерывный труд историков.

А.З. — Я не могу ничего запретить. Пусть пишет. Его историческая литература ложная. Это вывернутая наизнанку советская фальсификация. Если человек берется изучать историю, он должен иметь моральную концепцию. "Война и мир" — это ведь литературное, а не историческое произведение, не так ли? Претензии сочетать литературу и науку абсурдны.

Ж.Н. — Это от вас немного странно слышать...

А.З. — Я не историк. "Нашей юности полет" — не научная книга о сталинизме. Вы можете только лишь сказать: "Герой Зиновьева ошибался". Это литературное произведение. Вы не можете сказать: "Зиновьев ошибся".

Ж.Н. — То есть ни одна из ваших книг не является научной? Даже "Коммунизм как реальность"?

А.З. — Это преамбула моей будущей научной книги. Но все остальные книги основаны на литературных гипотезах. Например, "Зияющие высоты" показывают, как функционирует общество, управляемое только законами коллектива.

Ж.Н. — Читая вас, можно подумать, что история как наука закончена, что ее закончили коммунисты.

А.З. — Почему? В СССР имеется много прекрасных историков. Например, Рой Медведев.

Ж.Н. — Вы думаете, что в СССР может существовать история революции и история партии?

А.З. — Абсолютно уверен, что уже существуют, например, история съездов.

Ж.Н. — Можно ли говорить о Троцком?

А.З. — Здесь его роль преувеличена. Кто реально делал революцию? Троцкий только устраивал диспуты, и западные журналисты слушали только его. Ленин — это другое дело. Но Троцкий — да кто он такой? Человек, который воспользовался результатами революции.

Ж.Н. — Но он руководил Красной Армией.

А.З. — "Руководил"! Что бы это значило? Черненко "руководил" СССР. Это было время, когда никто никому не подчинялся. Сталин тоже руководил, и он плевал на Троцкого... Десятки людей играли такую же роль.

Ж.Н. — Хотите ли вы сказать этим, что невозможность работать над трудами Троцкого совсем не мешает историкам?

А.З. — Совершенно не мешает. Почему необходимо изучать Троцкого, если это абсолютно неинтересное явление? Изучают другое. Советская наука... Я думаю, что это г.но, но зачем изучать Троцкого? Если бы я был историком, я уничтожил бы память обо всех этих руководителях, которые являлись только фикцией.

Ж.Н. — О Сталине вы тоже уничтожили бы память?

А.З. — Сталин не был фикцией. Сталин — это эпоха. Вы не можете объяснить победу Сталина, утверждая, что Троцкий был гением, а Сталин ничтожеством. Это был мерзавец. Но террор ввели Зиновьев, Троцкий и другие. Культ Сталина зародился после культа Бухарина и других. Сколько городов было названо именами Троцкого, Зиновьева и так далее!.. Почему никто не говорит об этом?

Ж.Н. — Но в конце концов, возможно заниматься историей в СССР или нет?

А.З. — И да, и нет. Историей Троцкого — невозможно. Историей Сталина — еще меньше. Скорее будет разрешена книга о Троцком, чем о Сталине. Но изучать историю общества, историю какого-то района — возможно. Биологу для изучения достаточно клетки. Мне же достаточно "примитивного коллектива", это моя биологическая клетка. История лишь запутывает наше изучение общества.

Ж.Н. — Михаил Геллер в книге "Машина и винтики" рассказывает о сложной проблеме, с которой столкнулись в СССР: компьютерный взрыв. Не думаете ли вы, что по причине такого же порядка СССР не в состоянии выстоять против такой же революции в области коммуникаций?

А.З. — Что за ерунда! Это ничего не может изменить в глубинных отношениях людей. В СССР имеются компьютеры. Это ничего не меняет в социальных законах. Сидят ли они перед экраном ЭВМ или перед простыми счетами, но отношения между начальником и подчиненными остаются теми же. Компьютер не меняет

ваших мозгов. В Цюрихе я видел ученого, у которого был только один секретарь и компьютер. В СССР в этом же случае было бы пятьдесят сотрудников. Директор мог бы чувствовать себя директором, только если у него пятьдесят сотрудников.

**Ж.Н.** — То есть вы не видите для СССР никаких особых проблем, связанных с информацией?

**А.З.** — Никаких! В тот день, когда этого захотят, там будут лучшие компьютеры. Мы сделали водородную бомбу, в СССР начнут сразу же с десятого поколения компьютеров и превзойдут

всех в мире. Эта страна выродится только в том случае, если она захватит весь мир.

**Ж.Н.** — В СССР в двадцатых годах говорили о культурной революции и о создании нового человека. Вот как вы думаете: сегодня "новый" человек вытеснил старого?

**А.З.** — Уже появились миллионы людей, адекватных советской системе. Я не идеализирую: это довольно-таки отталкивающее создание, способное и на лучшее, и на худшее, но оно умеет хорошо приспособливаться. "Гомо советикус" — это существо обученное. Сегодня система

держится только благодаря "гомо советикус". Это новое существо, которое знает, как оно может выстоять в этой публичной свалке.

**Ж.Н.** — Последнее слово. Вы написали чрезвычайно много книг. Намерены ли вы продолжать?

**А.З.** — Если мне будут хорошо платить за то, чтобы я не писал книги, то я обяжусь писать не больше одной "некниги" в месяц.

*"Экспресс", 12-18 апреля 1985 года  
Перевод с французского*

## ОТ РЕДАКЦИИ "СТРЕЛЬЦА"

*Мы посчитали нужным перепечатать это интервью с А. Зиновьевым из французского журнала "Экспресс", ибо пора и русским читателям узнать, как говорится, из первоисточника, а не из комментариев наших журналистов, что именно публикует Зиновьев в западной прессе, видимо, надеясь, что языковой барьер не даст возможности нам, эмигрантам и изгнанникам, познакомиться с его парадоксальными, мягко говоря, положениями и утверждениями. Недаром на русском языке ничего подобного А. Зиновьев не публикует. Да и как же можно утверждать на страницах русской прессы (высмеют же!), что Сталин не сотрудничал с Гитлером (слова проф. Нива о разделе Польши, например, Зиновьев пропустил мимо ушей, иначе ведь пришлось бы говорить по существу дела), что уничтожение советских маршалов пошло на благо стране (а возможно ведь, будь в начале войны во главе армий не Ворошилов с Буденным, а Тухачевский с Блюхером, не пришлось бы столь позорно отступать, а затем уложить для победы 20 миллионов солдат и офицеров; и не случайно же были срочно освобождены из лагерей и посланы на фронт уцелевшие генералы, скажем, Рокоссовский и Горбатов), что коллективизация, хоть и проходила ужасно, но тоже принесла пользу, а вместе с индустриализацией стала залогом мощности страны (будто нельзя было индустриализировать страну нормальным путем, а коллективизацию, оставившую страну в конце концов без хлеба — закупают в США да Канаде — провести хотя бы без истребления миллионов наиболее работающих русских крестьян).*

*Впрочем, Зиновьев объясняет, что можно было только так и, кокетничая, заявляет, что он, наверное, в этих конкретных обстоятельствах был бы не лучше Сталина. А почему? Да трудно СССР было, ибо Запад натравливал на советскую страну Гитлера. Слышать подобное школьное объяснение от писателя и профессора странно. В школе и институте нам, правда, в свое время говорили то же самое... Но с тех пор прошли десятилетия, мы узнали и о секретном дополнении к советско-нацистскому договору о ненападении, мы узнали о разделе Сталиным и Гитлером Польши, о том, что два диктатора планировали вообще разделить между собой весь мир на сферы влияния. А Зиновьев оперирует все школьными понятиями сталинской поры. Неужели не развился с тех пор?*

*Полагаем, что развился, что все знает не хуже нас с вами, но нужно же привлечь к себе внимание западной прессы... И вот пускаются в ход парадоксы и антиисторические заявления. Профессор логики объявляет, что вокруг него (и среди друзей, и среди врагов) одни противники, которые задерживают его книги, уверяет, что никакого антисемитизма в СССР не было, и даже, мол, кампания борьбы с космополитами раздута, не одних, дескать, евреев Сталин тогда уничтожал. Но вам-то известно, профессор, что и Гитлер не только евреев уничтожал, но и немцев, и французоз... Вот только последних он уничтожал, если видел в них потенциальных врагов, а евреев лишь потому, что они евреи. То же самое начал после войны делать и Сталин, да не успел довести до конца. Издох. Можно согласиться с Зиновьевым, когда он говорит об угнетенном положении русского народа, о худшей для него ситуации и в экономическом, и в социальном, и в культурном плане, чем для многих других народов СССР. Но сочинять басни о национальных мафиях в Москве, о захвате ими ведущих позиций, это означает лишь унижать тот же русский народ, оскорбляя при этом народы другие.*

*Заодно А. Зиновьев, походя, оскорбляет массу людей. Так, вся вторая эмиграция, по Зиновьеву, — коллаборационисты с Гитлером. Солженицын говорит нелепости, его последние книги — фальсификация истории. Диссиденты предали народ. Книга В. Гроссмана — заурядная фальсификация и т. д.*

*Удивительные мысли высказывает Зиновьев и по поводу, например, событий в Афганистане. Оказывается, подобных вещей советским товарищам надо избегать не по причинам, скажем, сохранения мира или моральных соображений, а... из-за возможности американской агрессии. Наверное, если бы это интервью печаталось не во французском, а в американском журнале, Зиновьев придумал бы какую-нибудь другую агрессию.*

*Некоторые критики А. Зиновьева уверяют, что у него мания величия. Не знаю, страдает ли он действительно этим комплексом или играет в него, но даже в данном интервью есть заявления, мании величия не лишённые:*

**"Я ПОНЯЛ СВОЕ ОБЩЕСТВО И СТАЛ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВРАГОМ НОМЕР ОДИН".**

*Не изгнанный Солженицын, не сосланный Сахаров, а эмигрировавший Зиновьев...*

*или*

**"НЕ ЖЕЛАЮ НИЧЬЕГО БЛАГА..."**

*Этакий сверхчеловек Ницше.*

*или:*

**"ЧТО КАСАЕТСЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕТОДОВ, ТО ТЕ, ЧТО СУЩЕСТВОВАЛИ РАНЬШЕ, НИЧЕГО НЕ СТОЯТ..."**

*Очень смелые заявления писателя Зиновьева, обладающего единственно верным литературным методом.*

*или:*

**"ЛЮДИ, КОТОРЫЕ СИДЕЛИ В ЛАГЕРЯХ, НЕ СДЕЛАЛИ НИ МАЛЕЙШЕГО УСИЛИЯ, ЧТОБЫ РАЗОБЛАЧИТЬ СТАЛИНИЗМ".**

*А книги А. Солженицына, а его великий "Архипелаг ГУЛаг", оказавший огромное влияние, например, на французскую интеллигенцию, на ее элиту и на десятки тысяч других людей во всем мире?... Нет, об этом Зиновьев ничего не слышал...*

*Ну, и, наконец, перечитайте заявление А. Зиновьева на плакате, изготовленном остроумными французами.*

*Можно комментировать это интервью Зиновьева еще и еще, но мы не ставим перед собой такой задачи. Мы предлагаем нашим публицистам выступить на страницах "Стрельца" в дискуссии по вопросам, затронутым в интервью А. Зиновьева с профессором Жоржем Нива.*

## «КОНТИНЕНТ»

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ,  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
И РЕЛИГИОЗНЫЙ ЖУРНАЛ.

Главный редактор ВЛАДИМИР МАКСИМОВ.

Зам. главного редактора НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ.

Ответственный секретарь ВИОЛЛЕТТА ИВЕРНИ.

Зав. редакцией АЛЕКСАНДР НИССЕН.

Редакционная коллегия: Василий Аксенов, Ценко Барев, Николас Бетелл, Энцо Беттица, Иосиф Бродский, Владимир Буковский, Армандо Вальядарес, Ежи Гедроиц, Александр Гинзбург, Пауль Гома, Густав Герлиг-Грудзинский, Корнелия Герстенмайер, Петр Григоренко, Милован Джилас, Ирина Иловайская-Альберти, Эжен Ионеско, Роберт Конквест, Наум Коржавин, Эдуард Кузнецов, Николаус Лобковиц, Эрнст Неизвестный, Амос Oz, Норман Подгорец, Андрей Сахаров, Виктор Спарре, Странник, Сидней Хук, Юзеф Чапский, Карл-Густав Штрём.

Стоимость годовой подписки: 40 западногерманских марок.

Цена номера в розничной продаже:

10 западногерманских марок.

Адрес Генерального представительства:

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB.**

Bauerstr. 28, 8000 Munchen 40, West Germany.

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank Munchen Nr. 6304630.

Postscheckkonto: Munchen 147391-804.

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера)  
начиная с №.....

Имя: .....

Адрес: .....

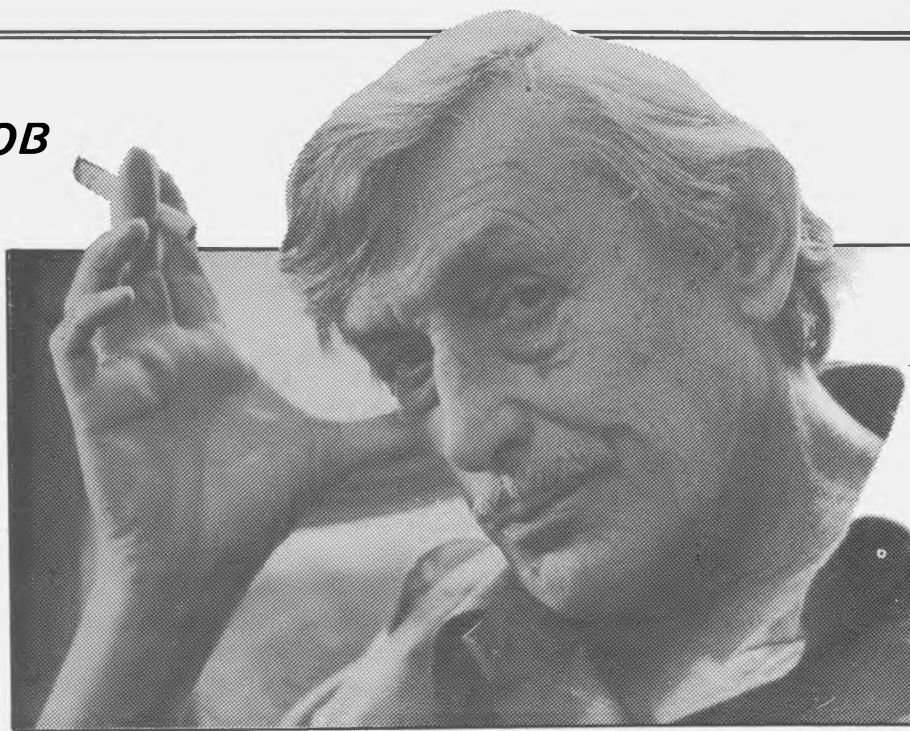
.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком  почтовым переводом   
через банк

## ВИКТОР НЕКРАСОВ



# Праздник, который всегда и со мной...

С ужасом замечаю, что становлюсь однообразен. Более того, без конца повторяюсь. Обычно люди моего возраста сваливают все именно на возраст, склероз и так далее. Но есть однообразие, склонность к повторению, связанные отнюдь не с возрастом. Речь идет о Париже. Да, о нем можно говорить без конца — Сена, Лувр, Нотр-Дам, Булонский лес, кафе и кабачки, Латинский квартал, таинственный ночной мир пляс Пигаль и Сен-Дени — но больше всего хочется говорить о книгах.

Я никогда не был особым книголюбом, не гонялся за раритетами, библиографическими ценностями, просто любил, чтоб у меня на полках стояли любимые книги, и когда хочется перечитать Чехова или "Трех мушкетеров" — протянуть руку и взять. Были у меня кое-какие книги по искусству, архитектуре (Корбюзье даже из Франции прислали), несколько так называемых антисоветских книг, привезенных мною из Америки и Парижа (Набоков, Авторханов, журнал "Мосты", за который мне потом крепко досталось) — вот и все.

Пополнялась моя библиотека редко и не систематически. Покупать-то, в общем, было нечего. Зайдешь в книжный магазин — а в Киеве их раз-два и обчелся — полки заставлены снизу доверху, а покупать не хочется. Иногда по знакомству достанешь что-нибудь в магазине иностранной книги или по списку в лавке Литфонда, и целый день счастлив, хвастаешься друзьям...

Ну, а здесь, в Париже?

Книги мои уже девать некуда. Долго соображаешь, куда бы сунуть эту новую, только что приобретенную. В подвале — слава Богу, сухой — скоро тоже некуда будет ставить. Там у меня — ссылка не ссылка, но что-то в этом роде — Федин, Шолохов, Симонов, не выкидывать же — подшивки журналов, кое-что и эмигрантское, наименее интересное... Одним словом, ставить уже некуда, и все же я покупаю, покупаю, без конца.

Отправляюсь в город, даю себе зарок — сегодня никаких книжных магазинов! Есть свободное время, зайди на выставку: в Бобуре — Кандинский, в Гран-Пале — Ватто, с другого входа — примитивист Руссо... Ладно. Иду на выставку, брожу по залам, устаю, мечтаю о доме и — бац! — оказываюсь вдрут во ФНАКе или "Глобе"... Сами ноги принесли.

ФНАК на рю де Ренн — это три этажа книг и пластинок. Ре-де-шоссе к тому же радио- и фотоаппаратура. Книги на всех европейских языках (кроме русского), всех специальностей и для всех возрастов. Народу больше всего (особенно по субботам) у "банд-десинэ", книг с картинками, которые у нас называются комиксами. Дети всех возрастов, устроившись прямо на полу, тут же читают их — это никому не возбраняется. Немало и взрослых. Одно время даже я увлекся. Не так, правда, содержанием, как изумительным исполнением — художники на этом деле набили уже руку. Две книжечки похождения знаменитого Лукки-Лука стоят у меня на самом почетном месте и фигурка его с неизменной прилипшей к губе сигаретой красуется на полочке с дорогими моему сердцу мелочами.

Кстати, о неизменной сигарете. Лукки-Лук — лихой ковбой, не расстающийся с пистолетами и этой самой, прилипшей к губе сигаретой, плод кисти бельгийского художника Мориса де Бевер, прославившегося под именем Моррис — покорила весь мир. Скачет, стреляет, побеждает. Неизвестен он был только в Штатах. И вот недавно на своем верном Джолли Джемпере он прискакал в Америку вместе с неотстающей от него самой глупой в мире собакой Ран-Тан-План... Но... Мы всегда считаем, что хуже советской цензуры на свете ничего нет. А вот американская, впуская знаменитого ковбоя к себе в страну, потребовала, во-первых, убрать сигарету (Америка борется с никотином!) — и, во-вторых, — противники Лукки-Лука, над которыми он обычно издевается и в конце концов побеждает, не могут быть неграми и представителями прочих развивающихся стран — вот так вот, а говорят — расизм...

И въехал отважный Лукки-Лук в свободную Америку без сигареты — изо рта теперь торчит травинка.

Не буду рассказывать, что можно купить и что я за десять лет уже купил в этом самом ФНАКе. Скажу кратко — купить можно все! Я ж покупаю, в основном, книги по искусству, фотографии, кино и, если куда-нибудь еду, путеводители и карты дорог — о них можно целую книгу написать. Последнее, что я купил во ФНАКе — две книжечки о Бразилии (собираюсь туда) и прекрасно изданный альбом (автор — Франсуа Перо) — современные французские витражи. Издано "Между-

народным центром витражей” в Шартре, городе, где в соборе самые знаменитые в мире средневековые витражи. И должен признаться, что, даже глядя на фотографии (цветные), я понял, что абстрактное искусство, к которому я отношусь более или менее скептически, в этой области (витражной), мало сказать, уместно — прекрасно! Абстрактные, и если не чисто ”абстрэ”, но очень современные витражи Амброзелли в церкви Святого Семейства в Валь-де-Марне, Сильвен Годен в церкви Нотр-Дам в Дуэ, Марселлы Лекамп в базилике на бульваре Менильмонтан, Жана Ля Шевалье на хорах парижской Нотр-Дам, Жана Ле Моаль в соборе в Сан-Мало — произведения большого, настоящего искусства, нисколько не спорящего, а прекрасно дополняющего архитектуру средних веков. Я не говорю уже об Анри Матиссе, Марке Шагале, Корбюзье — тут уж имена говорят сами за себя... Как в свое время московский пожар 1812 года, так и ~~последняя~~ война во многом способствовали украшению разрушенных и восстановленных теперь французских храмов... Бывает и такое.

Минуя с вами десяток прекрасных книжных магазинов — как ”Смит” или ”Галиньяни” на рю Риволи, ”Арт-Курьяль” на Рон-Пуэн и даже ”Глоб”, филиал московской ”Международной книги” на рю де Бюси (здесь я покупаю все советское, о чем москвичи, ленинградцы, киевляне могут только мечтать, от Евтушенко до Цветаевой и Булгакова, от Окуджавы или Высоцкого до Мандельштама и Ахматовой, любые подписные издания, роскошные альбомы по искусству ”Авроры”, отпечатанные в Хельсинки, Лейпциге, Милане). Так вот, минуя все эти соблазны, мы направимся с вами к Шекспиру.

Хозяин этого двухэтажного, нет, не магазина, а книжной лавки, именно лавки, на набережной Сены, очень милый, знающий все языки мира, вплоть до русского, старик, и если вы ему понравитесь, разрешает чуть ли не жить в его книжной лавке. Во всяком случае, вас в этом милом, уютном, таком домашнем заведении, угостят и чаем, и кофе, а, если хотите, то и чем-нибудь покрепче. Во всех углах, креслах, на диване или просто на полу, сидят люди и читают. Никто никому не мешает. Говорят вполголоса. Иногда что-то жарят или варят на маленькой плите на втором этаже. Все по-домашнему. Книжки не ахти какие, но много, а если хотите что-нибудь особенное — закажите. Через неделю-другую, как правило, доставят. Есть у ”Шекспира” и несколько полок книг, изданных порусски. Больше советских и не очень нужных — Серафимовичи, Фадеевы, Николай Островские... Только одну книгу я там купил — ленинградской театроведки Беньяш ”Без грима и в гриме”, про советских киноактеров, в том числе и про Смоктуновского, про фильм ”Солдаты” о котором теперь не очень то пишут...

Было время, зашли бы мы с вами и в ”Дом русской книги”, к Каплану, года три тому назад умершему старому одесситу, к которому в незапамятные времена заходили мы с Паустовским, когда были с ним в Париже. У Каплана я купил те самые злополучные ”Мосты” — прекрасный, к сожалению, уже не выходящий, альманах, который у меня потом нашли при обыске и долго впоследствии по поводу этого мытарили.

Было б время, зашли б в магазин ”ИМКА-Пресс” на рю Монтань-Сент-Женевьев — там можно даже полного Брокгауза и Эфрона купить, но все это уже в следующий раз.

Когда впервые приехавшую в Париж Наталию Горбаневскую спросили, что ее больше всего поразило в этом городе, подразумевая, что речь пойдет о витринах, она сказала:

— То, что можно зайти на любую почту и сделать за один

франк фотокопию любого документа, любой бумажки. А у нас за это в тюрьму сажают.

Меня же, привыкшего к Парижу, долго еще поражало, как это люди, на улице, подойдя к стене, вдруг вынимают оттуда деньги! Есть возле банков такие вмурованные в стену то ли ящики, то ли сейфы с загадочно открывающейся дверцей. Для этого надо всунуть в щель над этой дверцей специальную карточку (называется она ”Карт-бле” — ”Голубая карточка”). Дверца открывается и перед тобой ряд кнопок. Набрал особый, только тебе известный номер, потом цифру нужных франков, и они, новенькие, гладенькие, совсем не мятые, тихо вылезают из другой щели. Дело в шляпе! Карточка, сделав свое дело, тоже выползает, ты ее берешь и пошел по своим делам. Инстинктивно озирнувшись, не попал ли в поле зрения какого-нибудь гангстера...

Теперь остается только эти деньги потратить. На что?

Помню, в какой трепет привели меня парижские витрины, когда я впервые попал на Елисейские поля, лет тридцать тому назад. ”Сплошное стекло, — писал я потом в своих очерках ”Первое знакомство”, — гектары стекла и за ним, в пустоте закрытых магазинов, медленно вращаются умопомрачительно сверкающие, сверхобтекаемые восьми-, десяти-, двенадцатицилиндровые лимузины, кабриолеты и что-то, чему я не могу даже дать названия — такие они длинные и ни на что не похожие. А рядом, в витрине поменьше, лениво переливаются на бархате кольца, браслеты, диадемы и, по-моему, даже короны. Я никогда не думал о том, как короли и королевы приобретают короны. Получают по наследству или тоже хочется иметь новые, по последней моде? Постоит вот так, вроде меня, у этой витрины какое-нибудь королевское величество, потом зайдет внутрь: ”Мужские, 52-й размер есть?” ”Пожалуйста”.

Много лет спустя, уже эмигрантом, я все еще млел перед женевскими витринами: Женева — город ювелиров.

”Часы, — вспоминал я об этом в очерке ”По обе стороны стены”, — поверьте мне, если бы вы захотели их купить, имея даже много денег, вы бы стали в тупик... Нет, тупик это не то слово. И ”растерялись” тоже не то слово. Перед вами россыпи, водопады, Ниагара, Виктория-Ньянца, сокровища индийской бегумы! Бриллиантовые, платиновые, золотые, серебряные. Круглые, овальные, квадратные, продолговатые, в виде трубочки, звезды, солнца, Юпитера, Сатурна, кометы Галлея, в виде перстня, домика, кареты с четверкой коней, откроешь дверцу, а там часы. И все это умещается в руке... Я стоял перед витриной магазина на рю де Рон в Женеве и, ей-Богу, разинул рот. В четырех витринах этого магазина было выставлено — я не поленился, подсчитал — 488 пар часов! И это только ручных и дорогих, не меньше 500 швейцарских франков. Предел, дальше некуда.

А теперь поговорим по существу. Шутки шутками, короны коронами, но, ей-Богу, я не вижу ничего зазорного в желании купить что-то. Даже джинсы. Им нет сносу, их не надо гладить, к тому же, как сказал Пьер Карден или кто-то другой из законодателей моды, они всегда будут модны. И мама или папа юного москвича, оказавшись в Париже и питаясь, в основном, мелким частичком, покупают своему отпрыску джинсы ”Ливайс”. И тот на седьмом небе от счастья. Почему ж его не доставить?

Кто-то очень метко определил, что жизнь советского человека соткана из маленьких радостей. Постоял часок в очереди, добыл батарейку для фонарика, пуговицы, туалетную бумагу и радуешься. Здесь ты лишен этих маленьких радостей.

Помню, как разочарована была Милка, жена сына, когда покупка поднесенных ей ко дню рождения туфель отняла не больше пятнадцати минут. "Чтоб купить такие туфли, у нас в Кривом Рогу, мало в Днепропетровск на толчок съездить, иной раз и до Одессы доберешься. Потом идешь, как королева, все заглядываются. А тут? Хоть бы кто глянул на мои туфли. Обидно, ей-Богу..."

Обилие — в этом особая трагедия. Обилие и разнообразие. Глаза разбегаются. Даже выдавший виды знаменитый Михаил Казаков, когда я завел его в магазин грампластинок, сказал: "Я не знаю, что делать. Мне хочется все!" А другой мой друг, великий любитель строгать, пилить, стучать молоточком, попав в необозримых размеров подвальный этаж универмага ВНУ, чуть не расплакался: "Я очень хочу эту пилку, и эту стамеску, и эту струбцинку, и все эти гвозди, и эти крючочки, и защипку, дверную ручку, и звонок с мелодией из "Доктора Живаго", а какой из клеев я хочу, я просто не знаю. И топорик этот тоже хочу... Помогите, Вика, я умираю!"

А над нижним этажом с крючочками и гвоздями еще пять. И на каждом из них можно провести полдня. Это "Прентам", два корпуса. Рядом — "Лафайет", тоже два корпуса на пять этажей. А напротив "Маркс и Спенсер" — это уже поскромнее, всего два этажа.

На тротуарах, перед магазинами, тоже не протиснешься. Звонкоголосые торговцы соблазняют тебя всем самым дешевым и удобным. Изящнейшая модельерша тут же примеряет халатик, а рядом веселый дядька бодро моет каким-то составом нечто вроде витрины. И хочется купить этот халатик, и не задумываясь, бежать домой мыть окна...

Все само лезет тебе в рот. А проглотить не можешь.

Помню, как стоял я, изумленный, перед мясной лавкой в Фонтенбло. На тротуаре лежал олень. Самый настоящий, с ветвистыми рогами, из соседних королевских лесов. И кто его купит, недоумевал я. И зачем? Где его зажаришь, такого большого, красивого? На следующий день на его месте лежал кабан, ни дать ни взять убитый Генрихом Четвертым... И все это, дорогие мои друзья, называется миром потребления.

Просматриваю свои старые, двадцатилетней давности записи о Париже (был у меня такой очерк "Месяц во Франции", опубликованный в 1965 году в "Новом мире"), в которых рассказывается о моих парижских впечатлениях — вместе с Паустовским и Вознесенским мы были во Франции в декабре 1962 года.

Я узнал из этих записей кое-что о планах "будущего" Парижа. А сейчас это "будущее" стало прошлым. Не было тогда ни знаменитого района "Дефанс", ни "Фронт де Сен", ни Монпарнасской башни. А сейчас все это есть, выросло и стало Парижем...

"Дефанс" — это запад Парижа, даже за чертой самого города — маленький Нью-Йорк. За продолжением Шанз-Элизе (Елисейских полей) и авеню Великой Армии, за мостом Нейи, выстроен целый район небоскребов и башен. Район, главным образом, деловой — в башнях сотни фирм, компаний и прочих деловых организаций. Вокруг основного нагромождения башен — жилые районы: Курбува, Пюто, Нантер. Внешне все очень эффектно и современно, к тому же и связь с Парижем очень удобная: так называемая РЕР — скоростное метро — за три минуты уже у Триумфальной арки... И тем не менее (скажу по секрету) жить в районе этого самого Дефанса не очень хочется — мои друзья там живут и очень тоскуют по Парижу, хотя каждый день в нем и бывают.

"Фронт де Сан" — это другое, небольшое скопище небоскребов, на левом берегу Сены возле знаменитого моста Мирабо и длинной, вдоль по течению реки стрелки с венчающей ее статуей Свободы — маленькой, 15-метровой копии нью-йоркской. Когда-то на этом месте были мрачные парижские трущобы, сейчас — отели и опять же башни, нашпигованные фирмами.

О знаменитой монпарнасской башне я писал тогда, как о нашем нескором будущем. А сейчас я часто сижу у ее подножия в кафе "Тур" (что и значит "башня") и листаю газеты, попивая кофе.

Эту пятидесятидевятиэтажную башню на углу бульвара Монпарнас и рю дю Ренн парижане сначала приняли в штыки — мол, нарушает веками сложенный ансамбль старого Парижа — а теперь ничего, проглотили, привыкли.

Привыкли так же, как и к не менее знаменитому Бобуру, центру Помпиду. Это громадное, разноцветное, сотканное из каких-то труб сооружение, напоминающее грандиозный самогонный аппарат, расположилось в самом центре древнего Парижа — недалеко от Отель-де-Вилля и башни Сен-Жак...

Сначала все ахнули от ужаса, а сейчас Бобур один из самых посещаемых в мире музеев современного искусства, а площадь перед ним — самое популярное у молодежи место встреч и гулянок...

Короче — Париж все проглатывает и переваривает, и желудок его никогда не портится. В этом прелесть этого города.

Ультра-модерным стал и район бывшего "Чрева Парижа", Лэ Аль. Долгое время на месте снесенных рыночных павильонов зияла мрачная дыра — между старой биржей и церковью Сен-Эсташ. Сейчас половина дыры — "тру", по-французски — уже застроена, в основном, магазинами, уходящими под землю на три этажа — вторая же половина превращается в некое подобие сада — очертания его только намечаются...

Но, пожалуй, наиболее современный, даже вроде как в абрисах двадцать первого века — это район Ла Виллетт. В прошлом — бойни и рынок крупного скота, сейчас эта часть северного Парижа превращается в некую выставочную территорию. Строится громадный, а-ля Бобур, корпус науки и индустрии. Построен уже концертный зал и главная достопримечательность — Геод — громадный, сверкающий шар, внутри которого какой-то особый, 180-градусный кинотеатр. Я в нем еще не был, но говорят, что очень впечатляюще...

— И — наконец — мечта всех мечтаний — это возможный Дисней-лэнд в восточном пригороде Парижа — Марн-ля-Валет. Там совершенно новый город-спутник, знаменитый, в основном, домами испанского архитектора Бофиля. И сейчас в самом разгаре торговля города Парижа и района Иль-де-Франс с мощнейшей фирмой Дисней-лэнда и Дисней-ворлда. Его развлекательные центры есть уже в трех местах земного шара — в Калифорнии, Флориде и Токио. Сейчас подыскивается место в Европе. Конкурируют между собой Париж, Барселона и Аликанте. Кто победит, пока еще не ясно. Ясно только, что Париж и Иль-де-Франс уже ассигновали деньги. Государство тоже помогает.

Что ж, будем ждать. Если выиграет Париж, то кроме туристов будет аттракционом обслужено тридцать миллионов посетителей из окрестных районов. Ну, а дальше? Дальше — радость и веселье. Я был в лос-анжелесском Дисней-лэнде. Окунаешься в детство и все забываешь. Как это сейчас необходимо, в наш суетливый, беспокойный век.

Авось, Париж выиграет. Давайте пока хоть помечтаем...



## ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ

*Пять лет назад в Москве ушел из жизни Владимир Высоцкий – быть может, самый популярный певец в советской истории. "Неконтролируемая реакция" общества, которую, по мнению властей, вызывал Высоцкий при жизни, после смерти певца превратила его образ в общенациональную легенду. Посмертный культ "альтернативного" кумира, судя по всему, ввергает власти в серьезную озабоченность.*

Владимир Семенович Высоцкий умер в 4 часа ночи 25 июля 1980 года. Умер скоропостижно и преждевременно: в возрасте 42 лет. Вряд ли приходится сомневаться в причине смерти, которая, как предполагают, последовала в результате обширного инфаркта миокарда. Несмотря на то, что Высоцкий находился в форме (утверждают, даже "спортивной") и – по свидетельству отца – "в свой последний день собирался на концерт",<sup>1</sup> ореол гибельности, сопровождавший его в последние годы жизни, был очевиден, видимо, всем. Вот свидетельство советского поэта Андрея Вознесенского: "Гибельность аккомпанировала ему, и не в переносном смысле, а в буквальном".<sup>2</sup> Художник Михаил Шемякин, ближайший друг Высоцкого в среде русской эмиграции, пишет, что

весть о его кончине предощущалась всеми:

*Какой-то страшный, неумолимый рок увлекал и уводил его из жизни... За свои сорок два года он слишком много выстрадал и перенес как творец и человек... Последний год он был раздираем какой-то необъяснимой и непреодолимой тоской. Это не зависело от внешних обстоятельств. Казалось, что должно быть наоборот – выходили его пластинки, разрешались поездки по загранице, не смолкали аплодисменты. А он отчаянно тосковал под солнцем Южной Америки и под серым парижским небом. Нигде он не находил себе места. И он начал сознательно убивать себя.*<sup>3</sup>

Отец Высоцкого пишет в "Советской России": "То, что у него сдавало сердце, скрывал".<sup>4</sup> Однако о состоянии здоровья певца было широко известно. Его дважды реанимировали. Известен даже "Реквием" по Высоцкому – стихи, написанные Андреем Вознесенским после того, как врач Л.О. Баделян вернул Высоцкого к жизни после трех минут клинической смерти. Равно поражает как живучесть этого организма, так и воля его обладателя к небытию. В по-

3 Владимир Высоцкий, Песни и стихи, под редакцией Бориса Береста, изд. "Литературное Зарубежье", Нью-Йорк, 1983, том. 2, стр. 257.

4 "Советская Россия", цит. номер.

следний год своей жизни Высоцкий практически не выходил из предынфарктного состояния, в котором он, по словам своего отца, "улетел за тридевять земель" Весной 1980-го он успел в последний раз посетить Париж, в мае-июне того же года дважды сыграл Гамлета на гастролях Театра на Таганке в Польше, потом вернулся в Москву. 13 июля он сыграл в Москве Гамлета в 217 раз, 18 июля – в 218-ый. "Дальнейшее – в молчании..." – этой репликой закончилась его сценическая жизнь, хотя, по свидетельству друзей,<sup>5</sup> за пару дней до смерти он провел еще четыре авторских концерта, однако на последнем петь уже был не в силах...

Удушье московского лета беспощадно к сердечникам. Еще Борис Пастернак из всех возможностей распрощаться с оказавшимся в тупике героем романа "Доктор Живаго" выбрал для него не побег на Запад, не арест, не "чистое" самоубийство, а разрыв сердца в атмосфере августовской столицы. Как еще возможно было разрешить безысходный конфликт между системой и героем? Инфаркт, бесспорно, имеет ряд преимуществ. Этот способ разрыва с реальностью оставляет герою возможность "сохранить лицо". Он оставляет ему возможность погибнуть с надеждой на посмертное существование собственного образа в рамках покинутой системы и, быть может, даже на официальное его признание.

Ситуация, в которой находился Высоцкий, для каждого пытающегося осмыслить ее во всей многомерности, по выражению писателя Василия Аксенова,

5 Владимир Высоцкий, Песни и стихи, цит. изд. и том. стр. 324.



Прощание с Высоцким на Таганке. Фотография из архива М. Сорокина

”расставляет дебри вопросительных знаков”. Однако есть все основания для предположения, что не только жизнь певца, ее сюжет, ее драматургия, как о том говорил кинорежиссер Никита Михалков, но и смерть его была поступком, всецело мотивированным изнутри. В прямом смысле — ”авторской” смертью.

## ”ВОСКРЕСЕНИЕ”

Москва хоронила Высоцкого 28-го июля, в день Святого Владимира. Был период Олимпиады: ”незапланированным олимпийским событием” назвали западные корреспонденты этот стихийный взрыв скорби, собравший на похороны певца десятки тысяч человек.

О златоустом блатаре  
рыдай, Россия!  
Какое время на дворе —  
таков Мессия,

писал Вознесенский. После смерти о Высоцком как о Мессии, о ”посланце богов” заговорили отнюдь не только метафорически. Однако слова Вознесенского о ”времени” заставляют нас вспомнить, что судьба Высоцкого, его творческая самореализация почти целиком пришлась на ”брежневскую эпоху”. Энергетическое перенапряжение преждевременно сгоревшей русской ”суперзвезды” символизировало онтологическое, бытийное сопротивление многонационального общества, оказавшегося в плену энтропийно-безысходного, почти двадцатилетнего ”брежневизма”. ”За то, что я нарушил тишину, за то, что я хриплю на всю страну”, — пел Высоцкий, —

организации, инстанции и лица  
мне объявили явную войну.<sup>6</sup>

Можно предположить, что в этой войне на стороне Высоцкого были и влиятельные союзники, хотя сам он в последнем, предсмертном стихотворении ”И снизу лед, и сверху”, кроме Господа, благодарит единственного ”ангела-хранителя” — свою французскую жену, международную кинозвезду русского происхождения Марину Влади, которая пользовалась известным влиянием, в том чис-

ле и в коммунистических кругах Франции:

Мне меньше полувека, сорок с лишним.  
Я жив, двенадцать лет тобой и Господом  
храним.

Мне есть что спеть, представ перед  
Всевышним.  
Мне есть чем оправдаться перед ним.<sup>7</sup>

Было бы упрощением видеть в Высоцком ”диссидента песни”. ”Ей-Богу, по моему мнению, Высоцкий был выше всякой политики”,<sup>8</sup> — говорит русский писатель-эмигрант Анатолий Гладилин. Справедливо: глубинное христианское мироощущение Высоцкого обеспечило его творческому воздействию универсальность. В этой связи заслуживает внимания слух, переданный из Москвы корреспондентом английской ”Таймс”.<sup>9</sup> Когда Брежнев, находившийся в Крыму в компании своего гостя, руководителя французской компартии Жоржа Марше, получил из Москвы сообщение о смерти Высоцкого, он как будто бы поставил на проигрыватель одну из самых пронзительных песен покойного и, к удивлению гостя, поднял фужер коньяка в память по ”певцу протеста”.

После этого ”генеральный эпикуреец” партии Брежнев прожил еще два с половиной года. На другой день после его кончины, как наваждение, рассеялся брежневский культовый ”имидж”.

Культ Высоцкого начался в день похорон. Бывший главный режиссер Театра на Таганке Юрий Любимов, ныне живущий и работающий на Западе, рассказывает в своей вышедшей по-французски мемуарной книге ”Священный огонь” о том, как в 1970 году, вскоре после премьеры, была запрещена сценическая композиция по стихотворениям Андрея Вознесенского ”Берегите ваши лица”. Причина: ”неконтролируемая реакция” публики (то есть, взрыв восторга) на песню Высоцкого ”Охота на волков”, которая впервые прозвучала в этом спектакле.<sup>10</sup> Реакция на смерть певца приобрела ритуальную форму паломничества — постоянного и всенародного — к его могильной плите на Ваганьковском кладбище в Москве. Как проявляют себя вла-

сти по отношению к подобной ”неконтролируемой реакции”?

## БОРЬБА С КУЛЬТОМ ”НАРОДНОГО ГЕРОЯ”

Опыт последних пяти лет позволяет вычленил два основных подхода.

Мягкий, так сказать, ”голубиный” вариант — попытка ”овладеть” Высоцким путем адаптации, избирательного признания его творческого наследия. Вскоре после смерти певца Всесоюзная фирма ”Мелодия” выпустила первый советский диск-гигант, напелый Высоцким, а издательство ”Современник” — первую книжку песенных текстов и стихотворений покойного ”Нерв” — с предисловием поэта-аппаратчика Роберта Рождественского. Из огромного песенного наследия Высоцкого (ему принадлежит 600-800 песен и еще тысячи две приписываются) в книжку ”Нерв” Р. Рождественский на правах составителя ”впустил” около 130-ти, меняя названия песен, снимая посвящения, ломая строфы и подменяя слова. ”Книжка Высоцкого ”Нерв”, — по мнению Булата Окуджавы, сдержанно высказанному в интервью ”Литературной России”, — ...получилась не совсем удачной”.<sup>11</sup>

Другой метод — ”ястребный” — был опробован в 1982 году. Выступая в рамках дискуссии ”Литературной газеты” ”Культура: народность и массовость” поэт Станислав Куняев<sup>12</sup> — в соответствии с известной ”идеологемой” национал-большевизма — выдвинул мысль о том, что массовое поклонение ”чернорыночному” культу Высоцкого организовано ”пятой колонной” цивилизации ”торгашей”. Отдаленно — в подборе критикуемых имен — проступал и намек на не вполне стопроцентно русское происхождение Высоцкого, автора таких популярных песен, бичующих антисемитизм, как ”Зачем мне считаться шпаной и бандитом, не лучше ль податься мне в антисемиты?” или ”Мишка Шифман”.

Пробный шар не прошел. Ответов С. Куняеву дали не только на страницах ”Литгазеты”, где далее в той же дискуссии выступили доктор философских наук Валентин Толстых<sup>13</sup> и писатель

7 Там же, том 1, стр. 358.

8 Памяти Владимира Высоцкого, Радио Свобода, 25-26.7.81.

9 ”Таймс”, 24.7.82.

10 Youri Lioubimov, Le feu sacré, Fayard, Paris, 1985, p. 120.

11 ”Литературная Россия”, 10.2.84.

12 См.: ”Наш современник”: за политический подход к ”массовой культуре”, РС 193/84.

13 ”Литературная газета”, 16.6.82, стр. 3

Андрей Битов.<sup>14</sup> Вот как писал об этом сам Куняев:

*Может быть, в своих размышлениях я допустил несколько излишне резких формулировок... Но то, что последовало за статьей, ошеломило меня. Груды писем обрушились на "Литературную газету". Девять из десяти проклинали автора статьи (Куняев имеет в виду себя — С.Ю.) с такой страстью, что если бы слово обладало материальной силой, то он должен был бы испепелиться. По ночам то и дело звизгивал телефон. Анонимные — то мужские хриплые, то задыхающиеся от ярости мелодичные женские — голоса "били" в упор: "Ты еще жив?", "Ну, погоди"...<sup>15</sup>*

Вот только два отрывка из писем, полученных Куняевым:

*Миллионы рук протиснутся к вам и будут шарить в темноте, пока не найдут! (Без подписи).*

*Быть может, через 100 лет Высоцкий будет стоять рядом, а может быть, выше Шекспира и Пушкина... Не надо трогать народных любимцев, наших героев, наших кумиров (Милена Миловская, Ставрополь).<sup>16</sup>*

В общем, можно посочувствовать С. Куняеву, который под воздействием подобной реакции решил воздержаться от "осквернения могил":

*Я отложил письма и задумался... Так вот в чем дело: ты начал спор о вкусах, а замахнулся, сам того не подозревая, на "святая святых". Высоцкий уже не интересовал меня — бесстрастное время расставит все по своим местам.<sup>17</sup>*

Похоже, что национал-большевистское требование о необходимости дать государственный отпор "агрессивному культу" (Куняев) Высоцкого реализации в особых полицейских мерах себе не нашло. Пусть и под надзором милиции, но в 1984 году, к четырехлетию со дня смерти Высоцкого, к его могиле выстроилась очередь длиной в полтора километра.<sup>18</sup> Корректно вела себя милиция и в день пятой годовщины, собравшей на Ваганьковском кладбище в Москве "тысячи людей".<sup>19</sup>

<sup>14</sup> "Литературная газета".

<sup>15</sup> "Наш современник", 1984, №7, стр. 178.

<sup>16</sup> Там же, стр. 180.

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> UPI on Vysotsky, by Anna Christensen, 25.7.84.

<sup>19</sup> "Русская мысль", 9.8.85.

## "ВОЕННЫЙ ПАТРИОТ"?

Официально "даты" Высоцкого (25 января и 25 июля, день рождения и день смерти) в течение последних пяти лет если и отмечались, то только лишь "опосредовано" (пример — вышеупомянутое выступление Куняева, появившееся в июльском номере "Нашего современника"). Совсем недавно, однако, "Советская Россия" опубликовала интервью с отцом певца, полковником в отставке Семеном Владимировичем Высоцким. Журналист Лев Колодный провел интервью так, чтобы сделать акцент на "военном патриотизме" певца, который "лично и очень тесно был знаком с маршалами".<sup>20</sup>

Спору нет, "военная тема" у Высоцкого присутствует. Реализовывалась она в песнях, однако, — певец говорил об этом сам — не только как память о павших в минувшей войне, но и в качестве метафоры собственного индивидуально-боя за правду, экстремальной, "пограничной ситуации" певца в "войне" с "организациями, инстанциями и лицами". "Задействовать" Высоцкого в деле "военно-патриотического воспитания" будет непросто. Его друзья оставили свидетельства о реакции певца на экспансию советских вооруженных сил:

*События в Афганистане потрясли его. Он с болью говорил, как потрясла фотография девочки, обожженной советским напалмом. Закрыв лицо руками, он почти кричал: "Я не могу после этого жить там, не могу больше!" На другой день он взял гитару и спел песню, написанную накануне ночью. Это была песня об этих страшных событиях. К сожалению, я не записал ее. Помню пару строк, где сегодняшнего римского Папу уговаривают не лететь в самолете, что, мол, это опасно. И Папа отвечает:*

*— Мне не страшно —*

*я в сутане.*

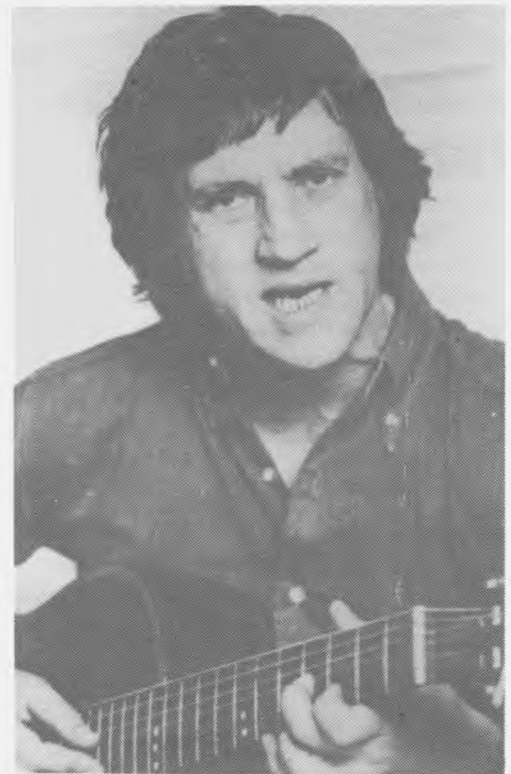
*А нынче смерть в Афганистане.<sup>21</sup>*

## ОРФЕЙ С ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ

Один из лучших интерпретаторов "образа" Высоцкого, либеральный советский критик и литературовед Юрий Карякин писал: "Чтобы пробиться сквозь наши каменные сердца, чтобы оживить

их болью и надеждой, теперь нужны настоящие отбойные молотки, взрывать нужно эти камни, иначе ни к чему не пробиться... И он сочинял и пел свои песни так, как будто отбойным молотком работал... Он именно взрывал сердца и — прежде всего, больше всего — свое собственное сердце...".<sup>22</sup> И дальше у Карякина возникает ассоциация, на первый взгляд, неожиданная: "Слушая Высоцкого, я, в сущности, впервые понял, что Орфей древнегреческий, играющий на струнах собственного сердца, — никакая это не выдумка, а самая настоящая правда".<sup>23</sup>

Преувеличение, перебор? Но вспомним в этой связи одного из теоретиков молодежных волнений конца шестидесятых годов на Западе, который писал в своем общеизвестном в то время эссе: "Орфей — архетип поэта как освободителя и творца... Орфический эрос преобразует бытие, побеждая жестокость и смерть освобождением. Его язык — п е с н я, его работа — и г р а".<sup>24</sup>



К этому архетипу и восходит Высоцкий, творчество которого продолжает возбуждать в Советском Союзе порыв к свободе.

Сергей Юрьенен

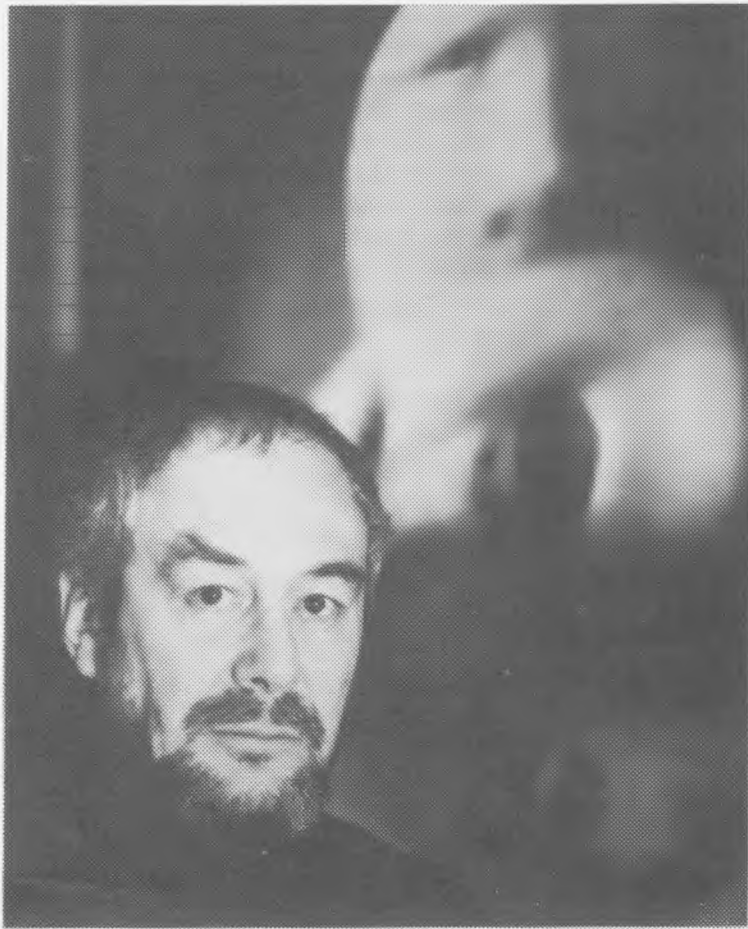
<sup>22</sup> Там же, стр. 351.

<sup>23</sup> Там же, стр. 353-354.

<sup>24</sup> Herbert Marcuse, Eros & Civilisation, Sphere Books Ltd., London, 1969, p. 139.

<sup>20</sup> "Советская Россия", 21.7.85.

<sup>21</sup> Владимир Высоцкий, Песни и стихи, цит. изд., том 2, стр. 259-260.



олег целков

# «пролей слезу...»

из воспоминаний

Выставка, о которой я хочу рассказать, не сопровождалась столь бурными событиями, как бульдозеры, давящие картины, как полотна, пылающие на костре, как переодетые в штатскую одежду милиционеры, изображающие рабочих, которые пришли в воскресенье на субботник, чтобы разбить Парк культуры и отдыха... В центральном доме архитектора никто деревья сажать не пытался, зрителей брандспойтами не разгоняли, все происходило тихо, скромно и, внешне, даже мирно.

Да и в целом в моей судьбе не было таких невероятных, драматических событий, с которыми приходилось сталкиваться другим художникам. И все-таки об этой выставке вспомнить стоит, хотя бы для того, чтобы восстановить еще одну деталь, еще одну картинку нашего московского быта.

Однажды, в 1970 году, ко мне в Тушино приехало двое молодых архитекторов. Они сказали, что ведут в Доме архитектора какие-то среды или, может быть, четверги. Точно не помню. Но назовем это для удобства изложения, средами. Так вот, значит, объяснили архитекторы, что среды у них проходят по вечерам. Иногда поэт выступает. Иногда кто-нибудь рассказывает о своей поездке за рубеж. Иногда писатель читает отрывки из новой книги. В общем, что-то обычное, рутинное, привычное. А тут, вдруг, не знаю, кто их надоумил, решили они мою выставку сделать.

И тут я должен коснуться довольно важной проблемы, которая волновала многих неофициальных художников: это вопрос об отношении к выставкам. Я с уважением отношусь к тем, кто за право выставляться в Союзе боролся, и уже не раз об этом говорил. Но лично меня вопрос о выставках никогда не трогал. В принципе я, может, выставляться бы и хотел, но только не в советских условиях, ибо советская система и я виделись мне настолько противоположными, друг другу противоположенными, что я полагал за благо попросту в живых остаться. Входить в конфликты с властями в мои планы не входило. И вовсе не из-за трусости. Считая себя как бы явлением незаконным в этой системе, я поставил перед собой лишь одну задачу: уцелеть, не просто уцелеть, а уцелеть для того, чтобы спокойно заниматься как можно дольше своим главным делом в жизни — живописью. Причем, я был абсолютно уверен, что рано или поздно все равно попаду под колесо этой машины, что в конце концов и получилось. Моя цель заключалась в том, чтобы это произошло как можно позже.

Но при всем том, я не считал себя вправе быть таким сто-процентным перестраховщиком, и в том случае, если это не грозило слишком серьезной карой, в частности, невозможностью дальше писать картины, выставляться был готов. Поэтому предложение молодых архитекторов меня заинтересовало. Нужно сказать, что к тому времени мне удалось попасть в Союз художников. Этот шаг являлся для меня еще одной формой защиты, так как известно, что к члену Союза художников не нагрянет милиция с обвинением в туеядстве, в случае чего не смогут прописать в газете, что он паразитирует, так сказать, на теле здорового советского общества. В Союз художников я прошел чуть ли не с черного хода, мне в какой-то степени повезло, я никогда себя художником театра не считал, но в свое время, после того, как за формализм меня исключили из ленинградской Академии художеств, мне пришлось закончить, чтобы не угодить в армию, факультет художников сцены в ленинградском Институте театра и кино. Это мне и помогло позже вступить в секцию театральных художников Союза. Театром я почти не занимался, просто сообщал в секцию, что, дескать, оформил в нынешнем году спектакли где-нибудь в Калуге, Пензе, Костроме. Никто моих сведений не проверял, а как художник театра я мог в выставках не участвовать. Поэтому мое членство в Союзе художников заключалось лишь в уплате членских взносов. Ни на одно собрание я не ходил, и вообще, что происходило в Союзе художников, знать не знал и ведать не ведал.

Интересно, что едва я в Союз вступил, как стали предлагать мне то встать в очередь на мастерскую, то поехать бесплат-

но отдыхать на, так называемую, творческую дачу, то еще что-либо. Это пример — как пытается Союз приручить своих членов, как старается сделать молодых своими... Со мною же еще, видно, решили заняться особо, принять-то уже приняли, но сигнал из КГБ, наверно, затем поступил, дескать, нужно этого человека перевоспитать, привлечь его к себе. Я так уверенно киваю на КГБ, потому что уже трижды к тому времени они со мной беседовали по вопросам, так сказать, искусства. Это происходило, когда меня из Академии исключали. В первый раз я, честно говоря, очень испугался, а второй и третий — уже ничего не боялся и вел себя с ними по-хамски, тем более, что никаких грехов за мной, по существу, не было. В общем, отстали они тогда от меня, с 1957 года о них не слышал. Но их ведомство ничего не забывает... Вот почему, видимо, в Союзе меня так усердно обхаживали. Но я и от мастерской, и от бесплатной поездки в Крым отказался, на что-то сославшись, мне нужно было только, чтобы меня не трогали. Меня не трогали: милиция — зная, что я член Союза художников, а Союз художников — полагая, что я тружусь над спектаклями.

Такая ситуация ребятам-архитекторам вполне нравилась. И для меня все выглядело привлекательным. Мне даже показалось, что мы неуязвимы. Действительно, Союз архитекторов в своем доме устраивает выставку члена родственного Союза художников. Где криминал? Таким образом, согласился я, наметили мы день, и, решив, что вечера на просмотр выставки недостаточно, решили открыть экспозицию с утра — на весь день. Я спросил о том, как смогут попасть на выставку мои друзья, ведь, естественно, у входа Дома архитекторов на страже стоит вахтер. Ребята обещали мне его предупредить с тем, чтобы он пропускал тех, кто будет говорить, что идет на выставку.

Архитекторы все организовали сами: приехали с машиной, аккуратно погрузили картины и отбыли. Я сейчас даже не помню — принимал ли я участие в развеске.

Итак, утром отправился я на собственную выставку. Запаздывал минуты на три-четыре, но не торопился, и вдруг, вижу, по другой стороне улицы, тяжело дыша, на большой скорости, мчится поэт Генрих Сапгир. "Генрих, — закричал я, — куда ты так спешишь?" На что он на ходу бросил мне фразу незабываемую: "Ну, знаешь, мы люди ученые..." Я про себя усмеялся. Но оказалось-то, что прав был все-таки многоопытный Генрих, знакомый со множеством неофициальных художников и их выставочными делами.

Когда я подошел к Дому архитекторов, то увидел, что у входа толпится народ. Не скажу, что стояла сногшибательная очередь, но для десяти часов утра людей собралось изрядно — не протолкнуться. Однако среди них было немало моих знакомых, так что мне удалось протиснуться в залы. Там тоже было много народу. Ну, не нужно объяснять, что любому художнику приятно посмотреть на свои картины, которые до этого он видел лишь у себя дома, чаще всего прислоненными к стенке, на выставке. Тут я чуть отвлекусь.

Моя самая большая рабочая комната в Москве была 14-метровой. А картины я, как правило, делал большие. "Тайная вечеря" — самая большая из них — имела размер 270 X 180 см, я писал ее через бинокль, перевернув его, конечно, обратной стороной. Поэтому, кстати, когда мне говорят о том, что нет условий, что тесно, невозможно работать, для меня это звучит, как отговорка. Настоящий художник не в состоянии не писать. У него может не быть мастерской, даже комнаты, он все равно будет писать, хоть в подъезде, хоть на улице. У него может не

быть холста и красок. Тогда он будет рисовать карандашом или углем на бумаге, на каких-то обрывках, на чем попало...

Однако, вернемся к выставке. Картины мои были развешаны в двух просторных залах, рядом с ними уже кто-то спорил, а меня кто-то хлопал по плечу, кто-то жал руку, в общем, поздравляли, и было, конечно, приятно все это, и настроение, как у всякого художника в такой ситуации, у меня было праздничным.

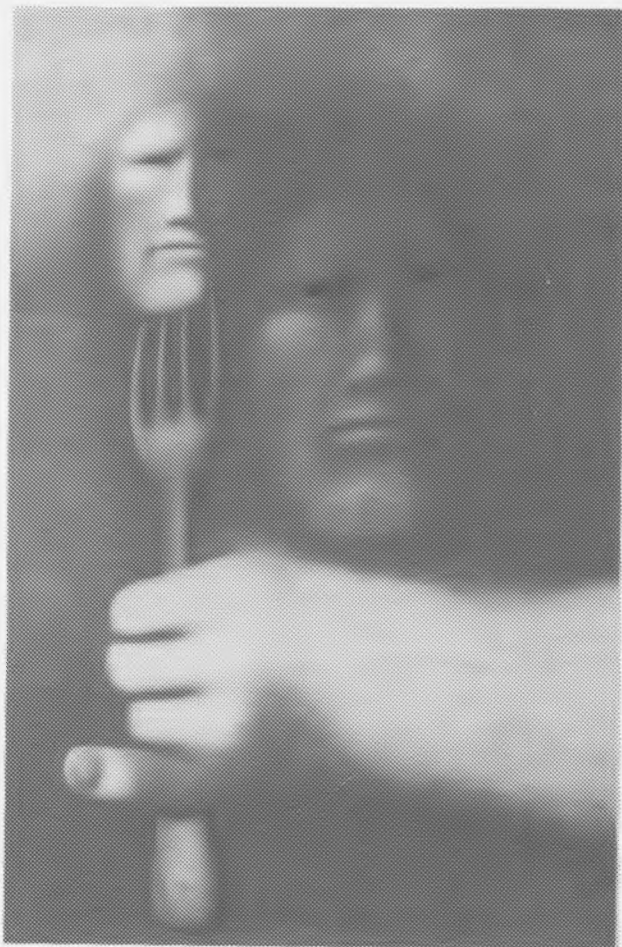
До этого я выставлялся только один раз, за пять лет до этой выставки, в Институте атомной физики имени Курчатова. Там моя выставка была открыта пять вечеров, после чего гебисты ее прихлопнули, да еще и заставили организаторов выступить на обсуждении с осуждением моего творчества. "Олег, пойми, мы будем вынуждены так говорить, но мы так вовсе не думаем", — твердили они потом. Да, ладно, понимаю, но противно мне было. И корил я себя за согласие на экспозицию. И, напоминая себе известное выражение "В публичном доме не говорят о любви", — клялся, что больше меня на выставку не выгатают, что для меня выставляться в этой стране неприлично, именно так же неприлично, как говорить в том самом месте о любви. И потом я уже на протяжении многих лет от всяких предложений отказывался. А вот теперь все вроде бы нормально, висят 25 моих картин, вокруг — симпатичные люди, и все как будто должно сойти, прицепиться начальству не к чему.

Но радость моя оказалась кратковременной. Уже через две минуты какой-то гражданин потянул меня за рукав и подвел к серому, невзрачному субъекту. Он очень тихо, почти не разжимая губ, проговорил: "Немедленно закройте выставку!" Одновременно он быстро сунул мне под нос красную книжечку. Фамилию я не успел разобрать, одно было ясно, что это — КГБ. Объяснив ему, что есть официальные организаторы выставки, я разыскал моих архитекторов-энтузиастов и рассказал им о случившемся. "Ничего, — ответили мне они, — мы ему скажем, что КГБ к нашему мероприятию отношения не имеет и закрыть выставку в Доме архитекторов может только Министерство культуры". То ли наивными эти ребята были, то ли играли в наивность, но так они гебисту и сказали, не обратив внимания на его книжечку, которую он жестом карточного шулера протащил перед их носами, повторив скороговоркой свое: "Быстро закройте выставку!" Нужно сказать, что наш визитер оплошал, он явился на место событий в десять минут одиннадцатого. Проспал, бедняга. Надо было прийти без десяти десять. Теперь же зал был набит битком... Не успел я об этом с некоторым злорадством подумать, как гебист наш исчез, буквально растворился, как фокусник. Но зато через минуту к нам подошел какой-то мужчина (он оказался электриком) и сказал: "Ребята, человек из КГБ велел мне, чтобы я, если вы сейчас же не закроете выставку, выключил свет. Иначе, мол, уволим, завтра можешь на работу не выходить".

Когда кто-то залез на табуретку и сказал: "Внимание, внимание!", то одновременно отключили электричество, и в полумраке — какой-то свет все же через окна проникал — оратор объяснил, что выставка по причинам, которые он не может объяснить, закрывается, но не совсем, а временно. Я посмотрел на часы. Было пятнадцать минут одиннадцатого. Что ж, мировой рекорд! Были случаи, когда выставки вообще не давали открыть, но закрыть выставку в присутствии публики через пятнадцать минут после открытия... Думаю, что это из тех рекордов, которые побить невозможно.

Вскоре люди полутемные залы покинули, а я спросил у организаторов, что же делать дальше. "Подождем директора, —

решили они. — Он приедет к двенадцати”. Но директор появился только в четыре часа. Он был очень зол. Заявил, что отменит, к чертовой матери, все эти среды, если будут еще организовывать мероприятия, подобные сегодняшнему. Между тем, на улице, у двери Дома архитектора, продолжал толпиться народ, почти никто не уходил. Ждали, чем кончится. ”Можно сказать людям, что выставка закрыта?” — спросил я у директора. ”Нет, ни в коем случае, — чуть не подпрыгнув, закричал он. — Я вам ничего не говорил. Когда все разойдется, немедленно увозите ваши работы”. Но, конечно, я кое-кому шепнул, что все кончено, и потихоньку люди стали расходиться. Да, одна деталь: когда выставка была закрыта, но не окончательно, вдруг в залы прошло несколько дядей и теток, все почему-то с желтыми портфелями. С ними прорвался на выставку и Андрей Вознесенский. Для пожаловавших, видимо, какой-то комиссии, включили свет. Когда они уходили, я слышал, как одна из женщин сказала другой: ”Здорово, здорово!..”



”С вилкой”, холст/масло, 1982.

Но это было личное мнение, а директора в это время где-то накачивали. Вот он и приехал такой злой и ершистый.

Едва я явился с картинами домой, как пришла жившая неподалеку мама и сказала, что ей звонили из Союза художников, у меня-то телефона не было, и потребовали, чтобы я срочно туда прибыл. ”Скажи им, что ты меня не нашла”, — посоветовал я. На что ей ответили: ”Пусть он не прячется!” А еще через час мне принесли телеграмму: ”Предлагаем немедленно явиться в Союз художников”.

Тут надо сказать, что я состоял не в московском отделении Союза, а в областном, поскольку жил в Тушино. Это не-

маловажный нюанс, так как художники нашего отделения в московских делах мало что смыслили, но обо всяких там неофициальных каких-то живописцах большинство о них слыхом не слыхивало. Ну, ладно, поехал я к ним куда-то на край Москвы, и уже в вестибюле увидел человек сорок или пятьдесят растерянных художников, которых вызывали телеграммами из разных концов Московской области. ”Что случилось, что случилось?”, — спрашивали они друг у друга. Но понимали, что произошло что-то из ряда вон выходящее, коль в каждой телеграмме объявлялось ”явиться немедленно”. Обо мне, повторяю, почти никто из них ничего не знал. Ну, какой-то театральный художник. И вот рассадили их всех в зале, и меня пригласили. Когда я вошел, то заметил, что на меня смотрят, как смотрели бы, вероятно, на марсианина или человека с двумя носами. Задние ряды встали, средние ряды привстали — и уперлись в меня... И президиум человек десять (а как же без него) тоже смотрел на меня с интересом. Председательствующий сказал: ”Сегодня мы собрали вас, чтобы разобрать персональное дело члена нашего областного отдела Союза художников Олега Целкова. Он, понимаете ли, устроил свою выставку в центральном Доме архитектора”. Это выступление не вызвало никакой реакции, ибо все, наверное, подумали: ”Ну, и что здесь такого?” и помалкивали. Только кто-то сверху спросил: ”А что вы тамставляли?” ”Живопись”, — ответил я. Какой-то человек из президиума порывлся в бумаги и заявил: ”Вы же художник театра!” ”Да, — сказал я, — но иногда, отдыхая, пишу и картины, и в ближайшее время думаю даже заняться скульптурой”. Кто-то в зале откликнулся: ”Конечно, можно же всем понемногу заниматься”. В зале снова воцарилась тишина, а потом раздался вопрос: ”А какие работы выставляли?” ”Экспериментальные”, — коротко ответил я. ”А в каком стиле?” — подхватил председательствующий (он-то знал, что случилось нечто экстраординарное и нужно меня исключить, но еще плохо ориентировался, не знал, с какого боку ухватить). ”Трудно сказать, в каком стиле, может быть, ближе к Леже, — отреагировал я, — это портреты, цирк”. И в зале опять — такая недоуменная тишина. Леже — и пусть. Что с того? Ему, конечно, подражать не стоит, но он и не тот художник, которым можно пугать, как в былые времена. Вот и выставка его была в Музее изобразительного искусства имени Пушкина. Председатель, видно, понял, что дело плохо, что с заданием он не справляется и без всякого уже воодушевления спросил: ”А почему на выставке было много иностранцев?” Он, наверно, и сам не ожидал той реакции, которую вызвал этот вопрос, всколыхнувший весь зал. Всем стало все ясно. Я это понял по их глазам. Теперь криминал был, как говорится, налицо. Еще бы — иностранцы! Все эти простые советские люди, люди недоразвитые, — мы все доразвивались постепенно, — все эти областные товарищи, что они могли теперь обо мне подумать? Ничего хорошего! Для подавляющего большинства из них иностранец — враг. И вдруг на моей выставке иностранцы! Со всех сторон на меня были устремлены враждебные взгляды. Я попытался объяснить, что понятия не имею, откуда появились иностранцы (ну, наверное, мои друзья информировали знакомых дипломатов, да и честно говоря, я и сам пару раз двум из них звонил...), но никакие мои объяснения были уже не нужны. Криминал есть криминал, а иностранцы это еще и серьезный криминал, несмотря на то, что на дворе стояли не какие-то сталинские годы, а начало 70-х. Думаю, что если бы им предложили голосовать за то, чтобы поставить меня к стенке, то очень просто бы проголосовали...

В общем, меня попросили выйти из зала, а через несколько минут пригласили войти, и председательствующий торжественно объявил: "Вы единогласно исключены из Союза художников СССР". Я потребовал выписку из протокола заседания. На это председательствующий простодушно сказал: "Выписку вы получите потом, так как мы еще не знаем, за нарушение какой статьи Устава Союза художников вас исключили". Комичная ситуация! Конечно, в московском отделении Союза подобное дело прокрутили бы по-иному, опыт-то большой. Моим же областным гражданам все это было в новинку.

В конце концов, через месяц или два я выписку из протокола все-таки получил. Там был указан номер статьи Устава, сейчас уже не помню, какой. Я решил посмотреть, как они мое исключение сформулировали, однако никто из моих знакомых членов Союза художников, включая членов правления Союза, устава никогда в глаза не видел. И ни в какой библиотеке я не мог его найти. Совсем уже решил отказаться от своей идеи, как вдруг в библиотеке Всероссийского театрального общества мне, наконец, повезло: дали махонькую, тоненькую книжечку — "Устав Союза художников СССР". Моя статья звучала так: "Устройство выставки без ведома Союза". Вот, значит, каким образом был нарушен мною устав. Что ж, решил я, полистаем его дальше, познакомимся. И тут-то я увидел, что руководителям областного отделения Союза и задумываться не нужно было, я подлежал немедленному исключению из Союза художников по любой не только что статье, но чуть ли не каждой строке его устава.

И все-таки в конечном счете исключен из Союза художников я не был. "Как же это могло случиться?, — спросит читатель. — Ведь исключили, — и в какой атмосфере!" Но дело в том, что областное исключение еще должно утвердить правление Союза художников СССР. А до этого дело не дошло. Правда, пришлось мне малость помаяться, да и настроение было противное — влопался все-таки. Знал же, что не надо лезть с выставками. Теперь, небось, замытарят и работать толком не дадут. Так вот, решил я как-то все это дело остановить, попробовать остановить. Сначала поехал к одному из видных функционеров областного отделения Союза, которого немного знал. Я его спросил: "Объясни мне, в чем все-таки дело? Ну, могли на первый раз предупредить, выговор, что ли, дать, но исклю-

чать-то за что?" "Неужели ты не понимаешь, — разъяснил он мне, как маленькому, — что исключение произошло по приказу КГБ. Я видел у них твою, скажем, папку. Ты не можешь себе представить, какая она толстая. Оказывается, о тебе пишут на Западе, твои картины покупают дипломаты, твое имя довольно широко известно в кругах, так называемых, неофициальных художников. Тобой, как видишь, весьма интересуются, собирают на тебя досье. А кроме того — как ты вел себя на собрании?" "А как? — переспросил я. — По-моему, очень скромно. На вопросы отвечал немногословно". Он посмотрел на меня с сожалением и этак назидательно сказал: "Нужно было пролить слезу!" И добавил: "Но не все еще потеряно. Тут в райкоме партии есть у меня одна знакомая баба, очень важный человек. Хочешь, я дозвонюсь ей и устрою тебе с ней встречу? Только при одном условии — прольешь слезу. И все будет поправлено". Не знаю уж почему, но согласиться "проливать слезу" я не мог, не мог и все. Это было свыше моих сил.

И тогда я вспомнил о Дмитрие Жилинском, хорошем художнике и, как мне говорили, порядочном человеке. Не знаю, как уж он попал в правление Союза художников СССР. Но в Советском Союзе все бывает. Так или иначе, разыскал я его и пригласил к себе. Он приехал с женой. Показал я им несколько картин и сказал: "Вот что я делаю. Вот за что меня исключили. А выставка-то была рассчитана на один день и проходила не где-нибудь, а в Доме архитектора, и устраивал ее не я". А дальше слово в слово сказал я ему следующее: "Сегодня за яйца не вешают. Я знаю ваши картины и считаю вас хорошим художником". Тут он перебил меня: "Я вас тоже считаю хорошим художником". "Тогда, — продолжал я, — помогите, раз вы сейчас ходите в начальниках. Меня уже предупредили, что за исключением последует обвинение в тунеядстве, а потом расправиться со мной будет совсем просто".

И Жилинский, спасибо ему, помог (теперь об этом уже можно говорить). Исключение мое не утвердили. Так что отделался я легким испугом, точнее, легкой нервотрепкой. Вот и вся короткая история пятнадцатиминутной выставки и связанных с ней приключений.

## В издательстве «Третья волна» готовятся к печати следующие книги:

**АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР. «РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ НА ЗАПАДЕ»**  
Сборник статей о творчестве художников-нонконформистов. Издание иллюстрировано.

ок. 280 стр. \$ 17.50

**ОСКАР РАБИН. Книга воспоминаний.** Издание иллюстрировано.

ок. 300 стр. \$ 17.50

РУССКИЕ ВЫСТАВКИ НА  
ЗАПАДЕ, 1985 ГОД

”Чем объяснить это поистине триумфальное шествие неофициального русского искусства по всему миру? Что это — случайный взлет, внезапная волна, этакий девятой вал?” Такие вот вопросы выдвигал я ровно двенадцать месяцев тому назад, когда писал о русских выставках на Западе в 1984 году. Напомню, что тогда их состоялось что-то около восьмидесяти, и даже некоторые граждане, скептически относящиеся к успехам русских художников в Европе

и США, должны были согласиться, что, да, дескать, наверное, тут дело не в политическом интересе. Что ж, может быть, выставки 1985 года убедят и других неверующих... Ведь и этот год оказался для наших живописцев и скульпторов удивительно успешным.

Начнем хотя бы с персональных экспозиций. У Бориса Заборова они прошли в Западной Германии в музее города Дормштадт и в Нью-Йорке, у Эрнста Неизвестного — в Лондоне, Сан-Францис-

ко и Нью-Йорке, у Михаила Шемякина — в Сан-Франциско и Нью-Йорке, у Виталия Длуги — в Париже и городе Александрия под Вашингтоном, у Валентины Кропивницкой — в Париже и Осло, у Владимира Григоровича — в Париже, Монжероне и Джерси-Сити, у москвича Ильи Кабакова — в Париже и в музее швейцарского города Берн, у Юрия Жарких — в Бонне и Лилле, у Иосифа Киблицкого — в западногерманских городах Линтольфе и Кляйнзассене, у Оскара Рабина — в Осло, у Михаила Рогинского, Олега Целкова, Владимира и Олега Лягачевых, Вячеслава Савельева — в Париже, у Юрия Купера, Виталия Комара и Александра Меламида, Василия Ситникова, Леонида Сокова, Валерия и Риммы Герловиных — в Нью-Йорке, у Льва Межберга — в Сан-Франциско, у Эдуарда Зеленина — в Дюссельдорфе, у Владимира Чернышева — в Венеции, у Григория Гуревича — в Монжероне...

Подавляющее большинство этих экспозиций состоялось в галереях, в том числе таких известных, как Клод Бернар (Купер и Заборов), Рональд Фельдман (Комар и Меламид), Холст Холверсенс (О. Рабин и Кропивницкая), и многие западные коллекционеры приобрели полотна, скульптуры, акварели и рисунки русских мастеров.



Борис Заборов. "Маленький пейзаж с сараем", холст/акрилик, 1983.



Таким образом, в Европе и в США в 1985 году прошло тридцать пять персональных выставок наших художников, и это не считая экспозиций в нью-йоркской галерее Эдуарда Нахамкина, где они меняются через каждые три-четыре недели. Немало в прошлом году состоялось и групповых выставок неофициального русского искусства — и в той же галерее Нахамкина, и в парижской "Галерее Мари-Терез", и в Нью-Йорке в американской галерее "Профиль", где сначала экспонировались художники группы "Санкт-Петербург" (Шемякин, братья Лягачевы, Евгений Есауленко, Владимир Макаренко), а затем прошла выставка восьми (Владимир Григорович, Оскар и Александр Рабины, Сергей Голлербах, Владимир Немухин, Валентина Кропивницкая, Виталий Длуги, Валентина Шапиро), и в Лондоне в галерее Миро-Шпицман и в целом ряде западногерманских галерей и выставочных залов, и в Вашингтоне, и в Музее современного русского искусства в изгнании в Джерси-Сити.

В целом же в прошлом году в Европе и в США состоялось снова около восьмидесяти персональных и групповых экспозиций, на которых демонстрировались произведения чуть ли не ста русских живописцев, скульпторов и графиков, причем не только эмигрантов, но и москвичей и ленинградцев Анатолия Зверева, Владимира Яковлева, Владими-

ра Немухина, Ильи Кабакова, Владимира Овчинникова и других.

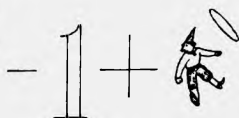
Многие из этих экспозиций освещались западной и эмигрантской прессой. Американский искусствоведы писали о Ю. Купере, Б. Заборове, В. Комаре и А. Меламиде, французские — о В. Григоровиче и М. Рогинском. Вышла сперва по-норвежски, а затем была переведена на английский язык монография Эрика Эгелянда о творчестве Эрнста Неизвестного.

Судя по всему, и 1986 год опять станет для русских художников урожайным. Во всяком случае, уже в ближайшее время, то есть в феврале-апреле, в Нью-Йорке состоятся персональные выставки Александра Косолапова и Леонида Сокова, нью-йоркский Новый музей готовит экспозицию наших художников-соц-артистов, персональная выставка Сергея Голлербаха пройдет в "Галерее Мари-Терез" и там же затем состоится групповая экспозиция с участием Владимира Григоровича, Владимира Овчинникова и Оскара Рабина. А в конце этого месяца в Монжеронском музее современного русского искусства в изгнании откроется большая и представительная юбилейная (Музею исполняется десять лет) выставка, на которой будут демонстрироваться работы из собрания музея. Об этой экспозиции мы расскажем в следующем номере нашего журнала.

А. Давыдов

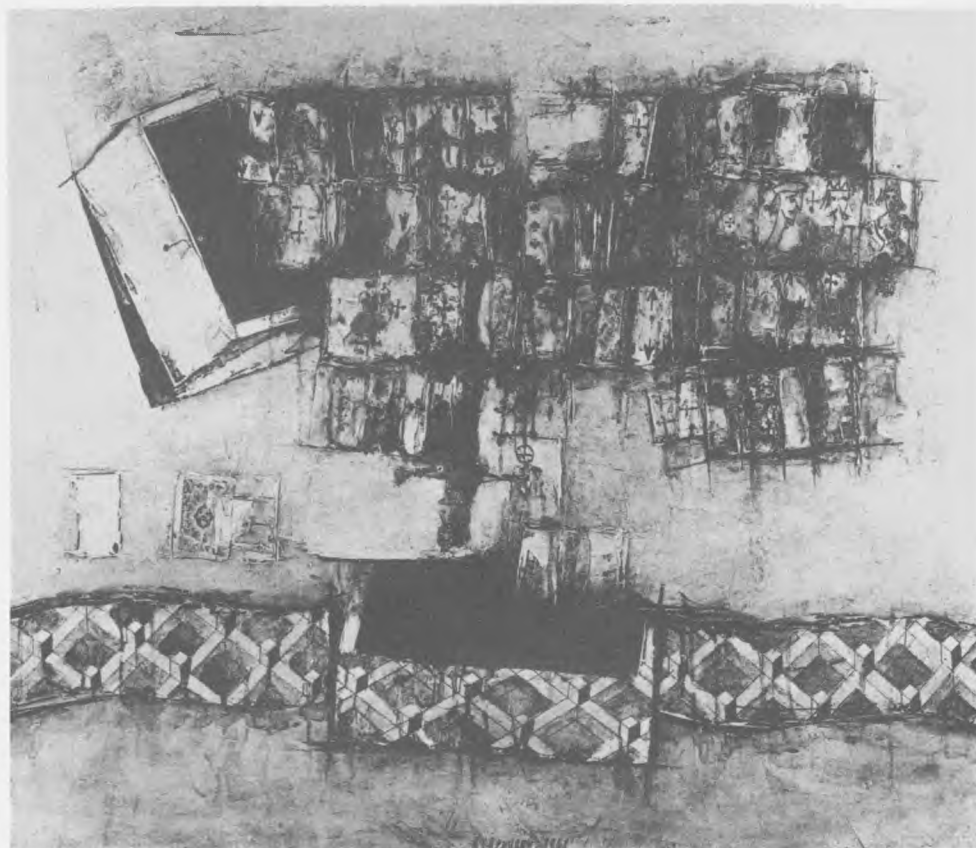


Владимир Яковлев.  
"Женский портрет", бум./гуашь, 1974.



Илья Кабаков. "Композиция", бум./тушь, 1974.

# МОНЖЕРОНСКОМУ МУЗЕЮ 10 ЛЕТ



Музей современного русского искусства в изгнании в Монжероне, под Парижем, отмечает свой десятилетний юбилей. Несмотря на все трудности (почти полное отсутствие какой бы то ни было материальной поддержки, разного рода провокации и даже попытки ликвидировать музей), ему удалось сделать немало в деле пропаганды неофициального русского искусства. Достаточно сказать,

Владимир Немухин. "Неоконченный пасьянс", холст/см. техника, 1966.



Александр Ней. "Метафизическая голова", керамика, 1976.

что наряду с выставками в своих стенах, а их, персональных и групповых, состоялось около двадцати, Монжеронский музей организовал около десяти экспозиций в музеях и выставочных залах Западной Германии, семь – во Франции, две – в Англии, одну – в Италии, одну – в Австрии, принимал активное участие в проведении выставок в Пале де Конгре в Париже, в Институте современных искусств в Лондоне, в городском музее Токио. Картины из собрания музея широко экспонировались на Биеннале свободного русского искусства в Венеции, Турине и Беллензоне, выставлялись на парижских салонах и международных Биеннале. О музее и об организованных им выставках неоднократно писала большая западная пресса, в том числе, такие известные газеты и журналы, как "Фигаро", "Монд", "Вашингтон Пост", "Санди Таймс", "Гардиан", "Экспресс", "Арт Ньюз", "Ди Вельт" и многие другие. Благодаря деятельности Монжеронского музея стало возможна публикация на английском языке сначала в Лондоне (под названием "Неофициальное искусство из СССР"), а затем в Нью-Йорке (под названием "Советское искусство в изгнании") книги Игоря Голомштока и Александра Глезера об истории русского неофициального искусства, о творчестве советских художников-нонконформистов, появилось множество каталогов на французском, английском, японском, итальянском и немецком языках. Иными словами, в результате активности Монжеронского музея весь мир не только узнал о существовании неподцензурного русского искусства, но мог и увидеть воочию картины, скульптуры и графику как наших художников-эмигрантов, так и нонконформистов, остающихся и поныне в Москве и Ленинграде и отстаивающих там свободу творчества.

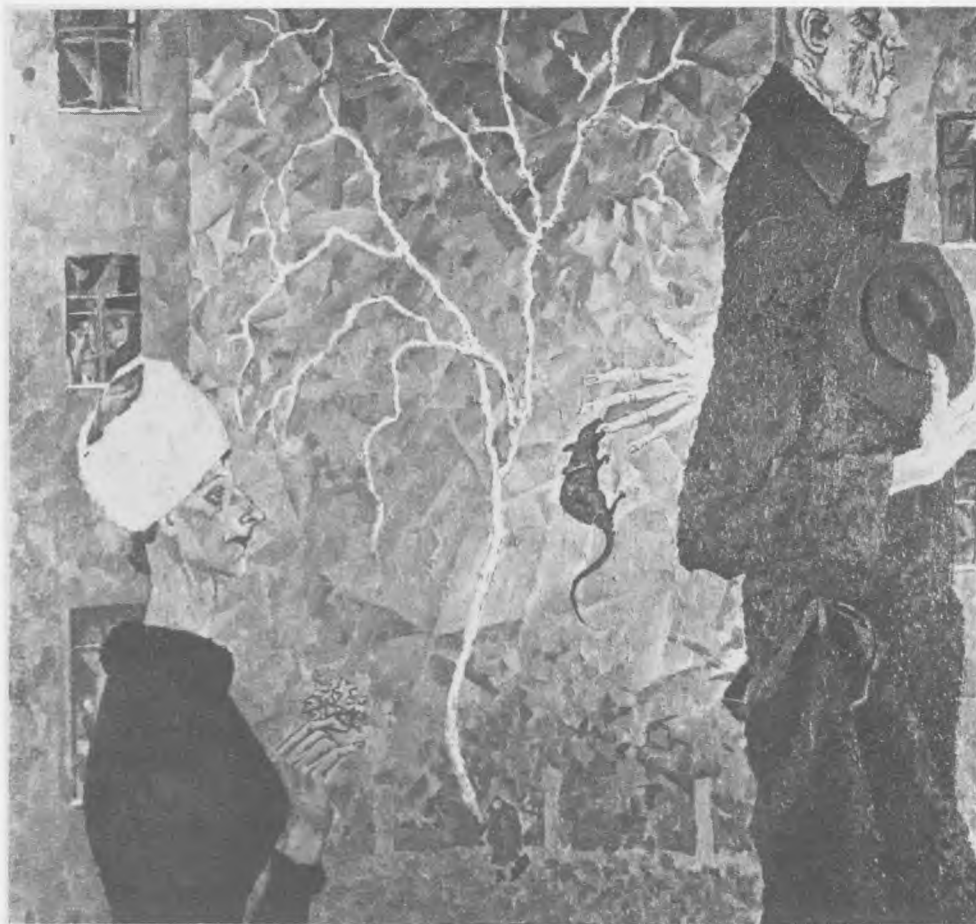
Оскар Рабин еще в 1977 году писал мне из Москвы, что деятельность Монжеронского музея оказывает моральную помощь художникам, находящимся в СССР, и, более того, оказывает влияние на отношение властей к этим живописцам. Уже одно это делает, на мой взгляд, существование Монжеронского музея чрезвычайно важным для свободной русской культуры. Следует отметить и то, что целый ряд галерей и французских, например, коллекционеров узнали о неофициальных русских художниках благодаря Монжеронскому музею, что в немалой степени помогло многим нашим художникам-эмигрантам.

Созданный в январе 1976 года на основе моей коллекции музей затем пополнился работами, переданными мне для его собрания художниками, оказавшимися на Западе: Оскаром Рабиным, Эрнстом Неизвестным, Олегом Целковым, Владимиром Григоровичем, Валентиной Шапиро, Владимиром Галацким, Гарри Файфом, Анатолием Крынским, Львом Межбергом и многими другими. Только в период с октября 1985 по январь этого года музеем подарены свои работы Борис Заборов, Александр Леонов, Леонид Пинчевский, Владимир Титов и Вячеслав Савельев. Пополнялся за эти десять лет музей и новыми произведениями, поступающими от художников-москвичей и ленинградцев, которых поименно назвать, увы, невозможно. Зато мне особенно хочется отметить Михаила Шемякина, который передал для музея не только две свои картины, акварель, рисунки и литографии, но и работы других художников, в том числе и ленинградцев, и москвичей из своей коллекции.

В последние годы мне не раз приходилось слышать от скептиков и недоброжелателей свободного русского искусства о том, что в восьмидесятые годы интерес к русским художникам-нонконформистам упал, что, мол, выставки музей организует лишь в своих стенах, а за их пределами ничего сделать не удастся. Хотят или не хотят того распространители подобных слухов, но эти разговорчики почему-то быстро пересекают государственную границу СССР и используются там начальством для того, чтобы ввести в заблуждение художников и оказать на них давление: дескать, не только здесь, но и там вы никому не нужны. А между тем, в 1985 году, так же как и в 1984-ом, на Западе состоялось около восьмидесяти групповых и персональных выставок русских мастеров.

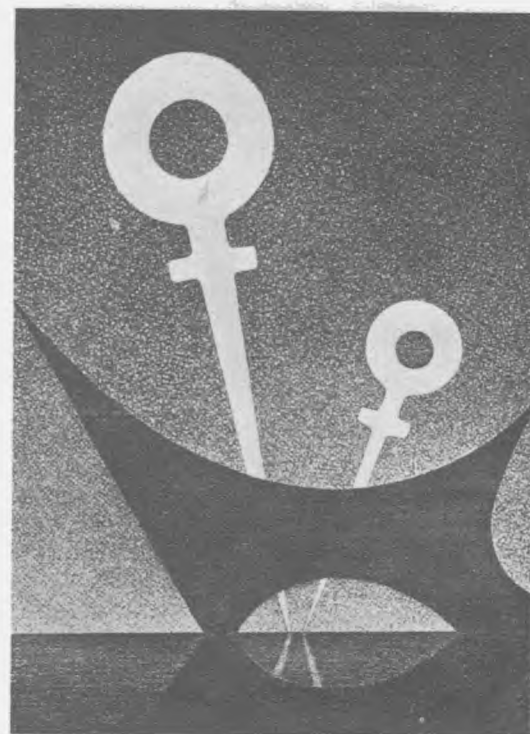
Нет спору, что Монжеронский музей несколько снизил свою активность в начале восьмидесятых годов. Но почему?

Из-за падения интереса к русскому свободному искусству? Отнюдь нет. Просто в сентябре 1980 года аналогичный Монжеронскому и одноименный музей открылся в Джерси-Сити под Нью-Йорком, и пока проходило становление этого музея, который недавно отметил свое пятилетие, мне как директору этих музеев приходилось больше пребывать в США. Однако ныне период становления уже позади. Музей в Джерси-Сити крепко



Борис Свешников. "Прогулка", холст/масло, 1961.

стоит на ногах, включен в Американскую ассоциацию музеев, организует одну за другой персональные и групповые выставки, как в своих стенах, так и в Вашингтоне, в Техасе, в Пенсильвании, в Вермонте..., выпускает каталоги, все чаще объемистые, со статьями западных искусствоведов о русских художниках. И теперь, когда у меня появилась возможность поровну делить время между двумя музеями, Монжеронский музей вновь становится активным. Уже в 1984 году большая экспозиция на базе его собрания состоялась под Дюссельдорфом и на нее откликнулось около четырнадцати западногерманских газет, критики которых высоко оценили творчество свободных русских художников. В том же году большая и позитивная статья о музее, с краткой характеристикой творчества многих из представленных в нем художников, впервые появилась в одном из парижских журналов по изобразительному искусству (кстати, мы публикуем ее ниже). Сейчас идет подготовка к про-



Николай Вечтомов. "Композиция", бум./тушь, 1966.



Михаил Шемякин. Из цикла "Карнавалы Санкт-Петербурга", литография, 1977.

ведению летом нынешнего года Биеннале русского неофициального искусства в Музее изящных искусств города Шартр. В принципе, достигнуто согласие о проведении в 1987 году групповой экспозиции в одном из престижных западногерманских музеев, ведутся переговоры о проведении подобных выставок в Дюссельдорфе и в музее французского города Экс в Провансе. Так что все разговоры о падении интереса к неофициальному русскому искусству и произошедшему из-за этого угасанию активности Монжеронского музея ни что иное, как досужая, но отнюдь не безобидная, болтовня.

Предъюбилейная эта статья пишется мною в Нью-Йорке. По последним сведениям из Франции в Монжероне ремонтируются залы музея, наводится перед праздничной экспозицией, как говорится, лоск и блеск. А выставкам, к огорчению наших недоброжелателей, еще быть и быть — и во Франции, и в Западной Германии, и в США... Впрочем, о будущем в другой раз.

Александр Глезер

## МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ИСКУССТВА

Музей современного русского искусства, размещенный в здании замка Мулен де Санлис в Монжероне, создан по инициативе Александра Глезера, который, будучи еще советским гражданином, начал с 1967 года собирать коллекцию картин неофициальных художников. Он приобрел около шестисот картин, рисунков, гравюр — свидетельство того, что русское независимое искусство, несмотря ни на что, существует. Вынужденный покинуть Советский Союз, Александр Глезер, ценой невероятных трудностей, сумел вывезти свою коллекцию на Запад. Таким образом и родился музей в Монжероне, который объединил работы художников-эмигрантов, а также показывает работы тех художников, которые продолжают жить на родине.

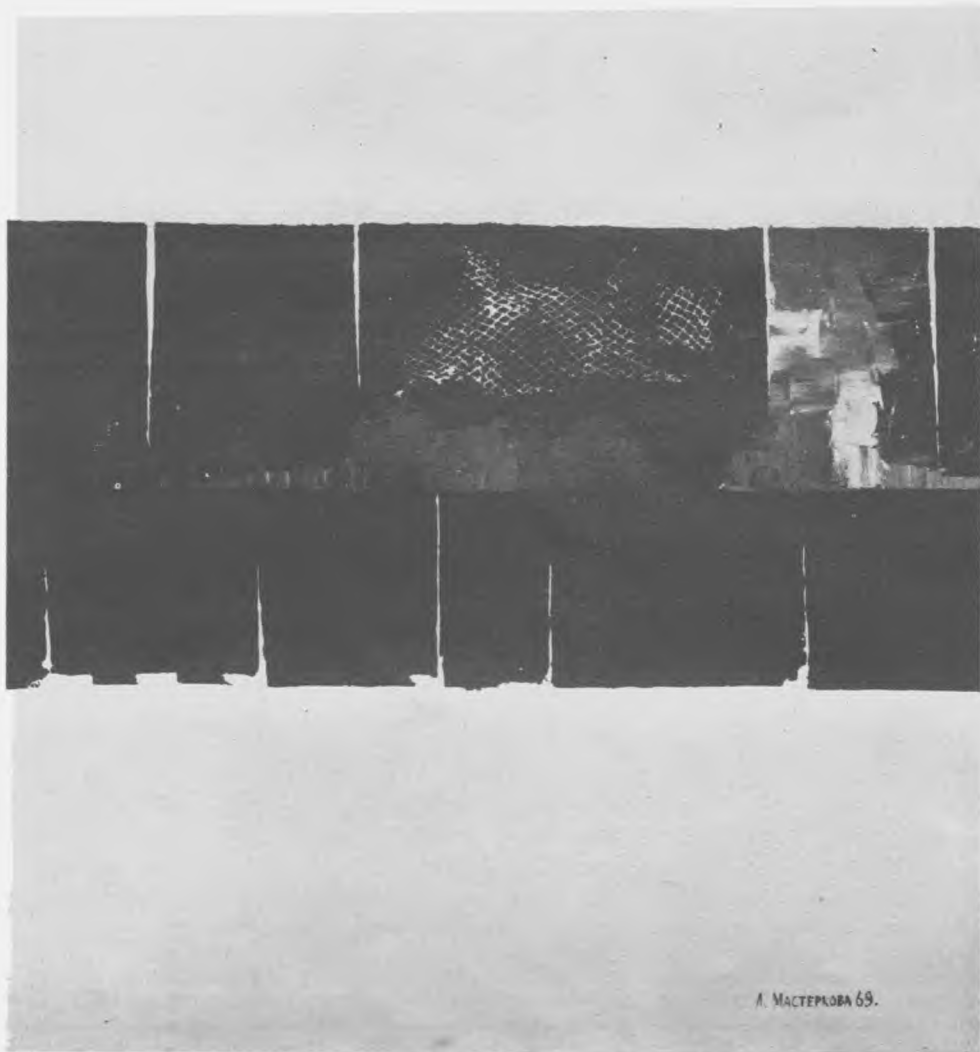
Изображать то, что ты чувствуешь, не так уж просто, и у тех художников, которые не следуют предначертанной партией линии, жизнь очень нелегка. Примерно с 1956 года в СССР появляется искусство художников-нонконформистов. И в самом деле, хотя всегда существовали художники, стремящиеся к экс-

перименту в своем творчестве, они вынуждены были работать, оставаясь в тени, а официальное искусство, начиная с 1923 года, было представлено только работами, чьи авторы покорно следовали всем обязательным директивам и, в частности, догматам соцреализма, т.е. искусства, которое "должно изображать реальность в ее революционном развитии".

После смерти Сталина, с 1956 года устанавливается период оттепели, и русское искусство, которое, уже, кажется, погибло, очень быстро возрождается. Появляются художники, готовые сражаться за право выставляться всем свободным мастерам, и они немедленно становятся мишенью для нападок со стороны прессы. В конце концов Оскар Рабин, лидер московских неофициальных художников, собирает всех своих друзей и предлагает им объединиться, чтобы протестовать против нетерпимого отношения к их творчеству. Пятнадцатого сентября 1974 года по его инициативе организовывается на пустыре в окрестностях Москвы выставка, кото-

рую власти немедленно разгромят, бросив против художников бульдозеры и милицию. Выставка разгоняется, работы уничтожаются, а официально объясняется это тем, что, как принято в СССР, трудящиеся желают поработать в свой выходной день как раз в данном месте. Этот погром вызвал большой скандал, и в итоге начальство **вынуждено** было разрешить через пятнадцать дней провести выставку в одном из парков Москвы. Выставка длится четыре часа. Успех ее необыкновенен: около 15 тысяч человек сумели ознакомиться с представленными работами.

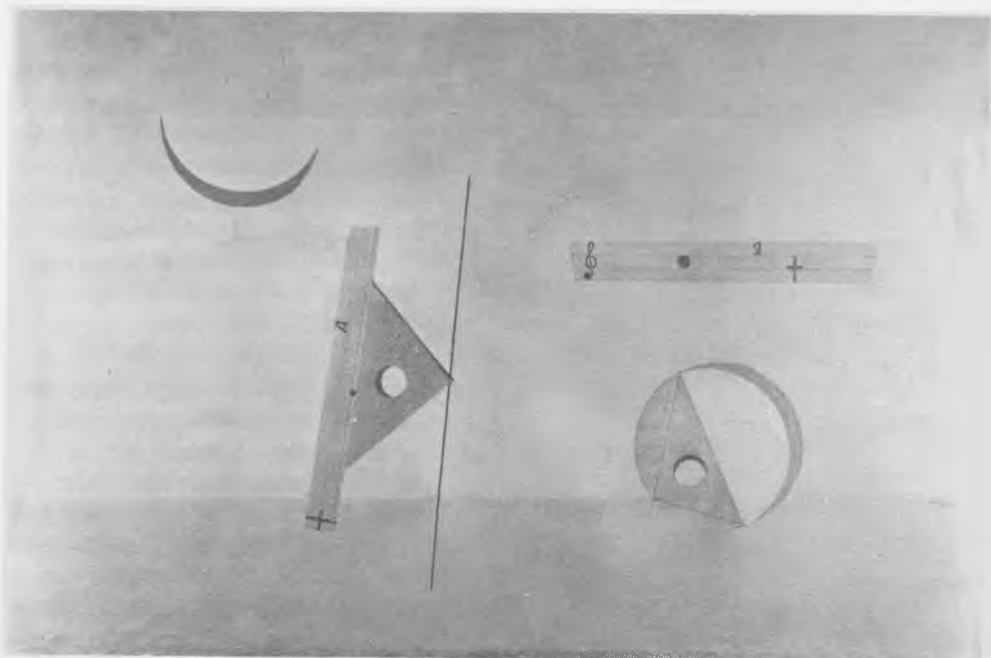
В замке Мулеж де Санлис имеется постоянная экспозиция работ из коллекции Александра Глезера, датированных 1960-1974 годами. С другой стороны, там же организовываются выставки работ русских художников, проживающих в изгнании. Когда рассматриваешь произведения неофициальных русских художников, то создается впечатление, что перед тобой подлинное искусство. Все эти полотна, различные по своей выразительности — свидетельство созидательного духа, искренности и часто духовности. Иногда то в одной, то в другой картине угадывается преемственность с западным искусством.



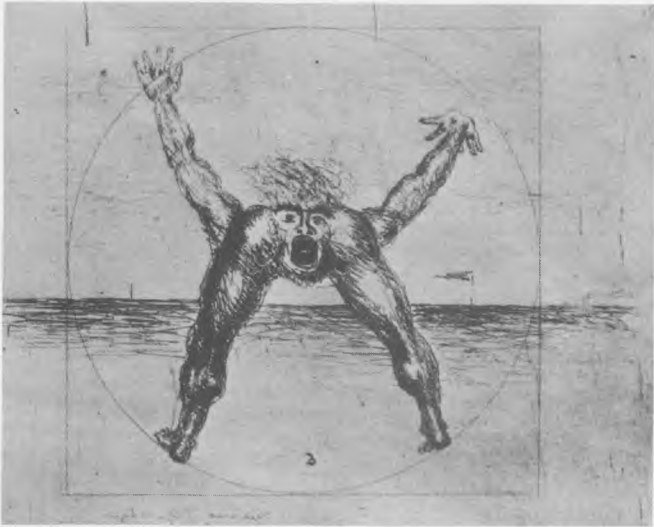
Лидия Мастеркова. "Композиция", холст/см. техника, 1967.

## РАБОТЫ

Мы встретились с тремя натюрмортами Оскара Рабина, датированными 1965-1968 годами. Что-то в них есть от кубизма, но средства исполнения не только живописные, как, например, в "Натюрморте" с газетой "Правда". Соединение подлинной эмоциональности и лиризма, которые можно найти в его пылающих пейзажах (1983) достигается Рабиным с помощью мощных и контрастных мазков, палитры, где доминируют серый и коричневые тона. В то же время в работах Рабина, особенно в картине "Рождество в Париже", которая пронизана ностальгией, много воздуха. Владимир Немухин использует смешанную технику для своих композиций с картами (1969 г.). Он умеет прекрасно организовывать пространство и сочетать свободу с реализмом. Этот художник обладает чувством фактуры и цвета. Картины Бориса Свешникова — фантастический реализм, отме-



Эдуард Штейнберг. "Композиция", холст/масло, 1967.



Владимир Янкилевский. Из серии "Город-маски", офорт, 1972.

Вячеслав Калинин. "Дьяволиада", холст/масло, 1972.



ченный страданием: прекрасные и безнадежные полотна, с неотступной мыслью о смерти. Трагическая атмосфера окружает эти холсты 60-х годов. Михаил Шемякин – художник, исповедующий принцип метафизического синтетизма. Его утонченные и строгие полотна и рисунки впечатляют духовностью. О том же свидетельствует его необычный цикл "Карнавалы Санкт-Петербурга" (1976 г.) с живыми силуэтами и элегантно изогнутыми линиями. В композициях Шемякина царят жизнь и прекрасная строгость. В натюрмортах с кувшином или морской звездой Краснопевцева (1965 г.) с большой сдержанностью сочетаются сюрреализм с эмоциональностью, что встречается редко. Маски Олега Целкова – выразительны и ярки. Необычно нежен натюрморт Вейсберга, на котором бутылки как бы растворяются в гармоническом

единстве. Фантастические полотна Калинин, в которых как бы проступает русская душа, освещены легкой улыбкой. Портрет Александра Глезера кисти художника Зверева (1975 г.) выполнен с необычайной силой, возможно, потому, что автор сумел подчеркнуть выражение глубокой тоски позирующего ему человека. В работе Галацкого присутствует глубокая безнадежность, а также чувство полной невозможности быть самим собой. Два этих различных ощущения показаны как две разные стороны человеческого лица. Натюрморт Путилина по своей технике приближается к ташизму, цветовые пятна у него доминируют над рисунком. Юмор Брусиловского, воплощенный в сюрреалистической манере, несет в себе нечто фантастическое. Экспрессионист борется с тенями в гравюре Эрнста Неизвестного. Сила исходит

от гравюр Владимира Янкилевского. Чернышев объясняется то языком абстракции, то языком фигуративной композиции, но его работы всегда остаются утонченными и поэтичными. Ситников и русский пейзаж: на его полотнах как бы воплощены воспоминания и мечты – очертания серо-голубых небес и природы выполнены в технике небольших мазков, положенных с неизменной любовью. У Владимира Овчинникова примитивизм сочетается с фантастическим реализмом. Если посмотреть на портрет Анны Глезер кисти художника Жарких, то мы увидим лицо, купающееся в солнечном свете, формы которого как бы растворяются в нем, но выражение, тем не менее, остается видимым. Очень сильное впечатление производят птицы и цветы Штейнберга. Фантастический мир Доротеи Шемякиной населен стилизованными персонажами – яркими – на белом фоне. Пейзажи с необычным контрастом черного и белого художника Титова, выполненные как бы пуантелю, создают ощущения какого-то фантастического мира. В монотипии с гуашью А. Васильева нужно вглядываться. Надо приложить немало стараний, чтобы различить лица и купола православных церквей в его работах, отличающихся исключительно филигранной техникой. И, наконец, рисунки, отмеченные печатью воспоминаний и грез – это композиции Валентины Кропивницкой, которая создала поэтический и призрачный мир, в котором соседствуют церкви, символы старой России, и звери, необычайно напоминающие людей. Точный рисунок, тонкая и нежная палитра характерны для этой художницы, воссоздающей потерянную родину.

Музей в Монжероне знакомит посетителей с современным русским искусством, которое не является ни авангардом, ни академической живописью. Это искусство, в истоках которого часто лежат трудности повседневной жизни или те извращения, которые эта жизнь порождает. Это – искусство трагического времени, искусство, отражающее на полотнах всю глубину духовных страданий, которые невозможно выразить иначе. Поэты или критики, эти художники в целом обладают чувством фактуры, иногда даже доходящим до чувственного ощущения, и всегда чувством меры.

Николь Ламот

